

ПОДВИГ ПОСТЫЙ



Часть третья

Подвиг постный

Федор Стратилат

Теплая безветренная осень 1931 года продержала Ангарскую навигацию до середины октября. Дни стояли солнечные, тихие, перед полуднем начинало парить. Еще в двадцатых числах сентября утренники напоминали о скором приходе морозов, но их туманная завеса расплывалась, всходило оранжево-розовое солнце, голубело небо, на открытых местах припекало, и все вокруг сияло летом. Все же, чуть не с Алиного приезда в Иркутск, капитаны объявили на пристани, что на днях будет последний рейс Иркутск—Братск. Прошла неделя, другая, а буксиры по-прежнему отходили от пристани, таща за собой баржи с углем, зерном, омулевыми бочками, прибывавшими от Верхней Тунгуски.

Наконец был оповещен предпоследний рейс с возвратом парохода в Иркутск, с ним-то и отправляли этап переселенцев на Братск, для дальнейшего следования в село Усть-Вихорево. Двухсуточный водный путь в шестьсот с лишним километров не страшил людей. «Наконец» — вздыхали и радовались в домзаке. Сто пятнадцать километров от Братска до Вихорева, по рассказам обывателей, представлялись, правда, последним испытанием или даже страшным сном, но даже и относительная свобода бодрила и радовала. Слишком тяжело для многих тянулись тюремные отсидки, кому — в одиночке, кому — в общей камере, но все равно в духоте, пыли, в разлуке с природой, с небом и его светилами, в замкнутом круге от живых впечатлений, вне друзей, дома, близких. И теперь, когда многие были вдоволь измучены и потрясены всем пережитым, срочными вызовами из камер, ночными допросами, когда человек по приказу забирал свои вещи и выходил за дверь, не зная, куда и на что он идет, теперь — далекое село за Братском, за Ангарскими порогами, окруженное тайгой и скалами, казалось заветным местом, желанным очагом покоя — как бы Отчизной неизвестной.

Почти все, идущие в путь с отцом Павлом, ссылались на недолгие сроки — три года, пять лет. И его двадцатипятилетний приговор принимался попутчиками не с ужасом, и не с презрением, и даже не с подозрением на какой-то крупный криминал. Наоборот — не то с сочувствием, не то с детски-простодушным любопытством смотрели на бледного, ссутулившегося человека с палочкой в руке, как на старшего товарища, идущего с ними вдаль на какое-то новое существование. Но тут-то люди и терялись в догадках — за что и так надолго назначен он? Свои-то поступки и дела знал каждый. Многие надеялись на амнистию, на сокращение срока. Но что мог натворить этот? С его личностью не увязывался никакой порок. За что же эти устрашающие двадцать пять лет? Тот же бухгалтер с одышкой, назначенный на пять лет в Усть-Уду, всецело принимал свои пять, не понимая двадцать пять лет отца Павла. Не выдержав любопытства, вступил с ним в разговор о сроке. Батюшка только посмотрел на него, улыбался и молчал, хотя в молчании его не было и тени обиды. Это понял и бухгалтер, обвинив себя за бестактный вопрос. Но отец Павел сейчас же снял с него самоукорение и мысли о каком-то своем крупном проступке — он, насколько его собеседник мог понять, объяснил, что целый ряд людей, так называемых «служителей культа», попал под надзор текущего исторического момента — только и всего... Ответить на вопрос, как веруешь, как поступаешь? — мы должны. А во всем остальном — воля Божия! Дают срок — двадцать пять, но Господь волен освободить хоть начисто, как Ему угодно.

Бухгалтер с живым интересом смотрел на отца Павла.

— Так вы, отец Павел, надеетесь все же на амнистию?

Светлый взор был ему ответом.

— Да, я твердо надеюсь на скорое разрешение моего дела!

«Тогда, конечно, — думал бухгалтер, отойдя от отца Павла, — если его амнистируют, то... Но, однако, если он все же виновен или в чем замешан? Какое сомнение!»

Лизин тулуп, «рыжая овчинка» подоспел вовремя: его принесли с передачей накануне выхода из тюрьмы. Кроме тулупа, туда были положены валенки, рукавицы, шарф, все необходимое для зимы.

За последние дни в домзаке с отцом Павлом познакомился молодой, лет двадцати с лишним, человек, тоже идущий с ним на поселение, — Федор Укоров. Он почувствовал к батюшке необоримую симпатию. «Пришвартовался он к тебе», — дружелюбно гово-

рили конвоиры, осознавая поселенцев уже свободными людьми. Что, казалось бы, родилось общего у юноши, хоть и заключенного, но полного жизненных сил и эмоций, с почти стариком, несмотря на свои пятьдесят пять лет, больным, да еще служителем культа, попом, как его здесь называли все?

Но симпатия есть часто нечто необъяснимое. Не всякого она поражает целиком и внезапно, и не со всяким связывается. Укоров досиживал свои дни на другом посту, но у поселенцев уже были льготы, они свободнее виделись друг с другом и чаще и дольше могли общаться между собой.

Накануне всем десяти, идущим на Вихорево, выдали дорожный паек — по килограмму сухарей из пшеничной муки крупного размола, с виду они походили на греческие губки, и по двести грамм «сушки», то есть сушеной колючей рыбы. О голодном пути люди не горевали: почти всем накануне принесли передачи, почти у всех в Иркутске были знакомые или родные, у всех оказался плиточный чай, огурцы, масло, сырки, сахар и яйца. Отец Павел был хорошо снабжен в дорогу, но как нести? Ни поднять, ни идти он не мог, и шутил:

— Меня выведут, сяду на пороге, как хотите — к стенке или волоком?

Но его уверяли, что больных повезут, не бросят. Вводил в затруднение тулуп. У отца Павла была при себе дорожная старая ряска, взятая наспех из дома, в ней-то он и шел в домзак с вокзала, прибыв в Иркутск. Путаться в ней ослабшими ногами, являя для всех странный вид? Тяжело, нехорошо, да и холодно... В тулупе, как нагреет солнце, будет жарко? Родилось беспокойство, как нести овчинку на своих плечах. Но все такие недоразумения рассеялись с приходом Федора Укорова. В нем, таком молодом и смелом, было нечто, разбивающее все препятствия. «Тулуп сперва надо нагрузить на плечи свои! До пристани дадут телегу — доедешь. Там будем в шесть часов утра, не жарко! Буксир отойдет в семь часов тридцать минут, а то и в восемь, значит по холодку. А на пароходе он еще и как пригодится — он и подушка, он и одеяло. В момент свернем и развернем. Не близок конец — Братск, еще какая случится погода!» И Федор, помогая отцу Павлу, сложил его вещи, распределяя весь поход по частям: большой мешок он возьмет на плечи, остальное — в руки. Поклажа, хвастался он, небольшая у меня: вот этот мешок и я сам!

Но отец Павел все еще недоумевал — как одолеть сто пятнадцать километров до села? Как дойдут?

— А там, — ободрял его Федор, — с Братска нам дадут тележки, так называемые гробики. Две-три их дадут и какую ни на есть лошаденку. То верхом поедем, то ползком, то обвалом. Я — раз сказал, что помогу, кончено. А вот колючую «сушонку» — ершей и окуньков, то на что они сдались? Все у нас есть. Только язык наколется. Тут один паренек есть — ему лучше отдадим, нуждается, бледный такой, за убийство сидит... Давно уж по лагерям. Здесь он на передачках, высшую меру отменили.

Как было отцу Павлу не знать «бледного». Он тоже за месяц в Иркутске был ему помощником и доброжелателем... Его держали здесь до вторичного концлагеря. При прощании с батюшкой «бледный» плакал.

— Ты за меня, поп, молись! — бегло роняя слезы, говорил он. — Как завтра пойдете, из окошка погляжу на вас. Вместе ведь шли сюда, как приехали, помнишь? Твоя молитва — сила. Если Бог есть — может и смилуется? Проси за меня... за такого-то... имя знаешь? Василий я...

— А ты сам попробуй, — через силу шептал отец Павел, — попробуй сам... Разбойника на кресте... разбойника, — слезы не давали говорить. Их прощание прервал Федор.

— Телегу точно дадут! — радостно сообщил он. — Я им велел сенца побольше подложить, а они как на меня гавкнут: «Кто ты есть и кому указываешь, сопляк? Дохлое мясо на телеге свезем, да еще соломки побольше подложи, а тебе, молодому, стыд, с кем связался!» А мне, — заключил Укоров, — наплевать! Свезут на буксир, и дело с концом. Лишь бы доставили.

— Напрасно вмешиваетесь! — качал головой батюшка. — Я вам бесконечно благодарен за ваши услуги и заботы обо мне, но не надо навлекать на себя. Вашу фамилию я знаю, запомнил, Укоров... А вот как по имени?

— Федор Укоров. Их, Федоров, много, так я — который Стратилат...

Улыбка чуть тронула бледные губы.

— Вот как, вы и Стратилата знаете? Каков!

— Собственно говоря, я про него ничего не знаю, — сразу же объявил Укоров. — Ни отца, ни матери не помню. А про Стратилата мне упоминала бабушка одна, родственница. Она меня и окрещала, и в приют ко мне ходила, при царизме были такие приюты, вот

как теперь детдома, — простодушно осведомлял он отца Павла. — И как я помню, она мне и внушила, что ты не иной какой Федор, а Стратилат.

— Вот и прекрасно! Так и вам, Федор, надлежит по роду быть воином — он был мучеником, а при жизни — воин.

— Мне-то, — смеялся Укоров, — какой я воин? Первое — я вор. Концлагерь отбыл, ну а по другим причинам назначили меня сюда, политику припаяли, сболтнул лишнее. И в село... С семнадцати лет так пошло. А сейчас уже двадцать второй год. Три годика работай себе! Небось от скуки не помру! Тогда я точно был виноват, а сейчас? — Он охотно рассказал батюшке о прошлом. Отца не помнит, родные были по матери, она вскоре умерла, и если бы не бабушка, ходившая в приют и в школу, он был бы одинок. Сбился с честного поведения еще мальчиком. Отсидел в исправдоме год, отбыл концлагерь, а там среди работы и новых товарищей долетели до него живые слова о Вечной Истине — Боге и Новом Пути. С тех пор в поисках правды он бывал резок, выступал спорщиком, все остальное было по-честному, но что привело его сюда — это духовные книги, знакомство с верующими, сектантами. Правду Федор искал жадно, и отцу Павлу не составляло труда понять юношу и откликнуться на его нужды, он весь был как на ладони, сразу принимал совет или объяснение, и что ни день, привязывался к нему, как родной.

Блаженная Анисья

В путь выступили после Покрова, рано утром. День обещал быть ясным. Поселенцы пришли на пристань почти одновременно с телегой — транспортом для больного отца Павла и конвойного, сидевших на жалком ворошке сена. Прогрохотав по каменной набережной, телега остановилась у пристани, основательно помяв сидокам бока и поясницу. Кое-какие вещи переселенцев, чемоданчик и мешок отца Павла сразу сгрузили с нее, и они легли рядом с горой свернутого каната. Старого типа торгово-пассажирский пароход-буксир, с наивной надписью «Тигренок» на борту, чуть покачивала прибрежная волна. Пахло дегтем, нефтью, чуть-чуть пробивался запах печеного хлеба и ржавых сельдяных бочонков. Утро разяснялось, на горизонте мало-помалу выглядывал ободок сиявшего солнечного кокошника. День просыпался, очертания города рождались из тумана, как из воздушно-сказочного

покрова, он постепенно таял, исчезал. Выплывали здания, стены, колокольня собора. На реке пенились и седели гребешки беспокойных осенних волн. Чуть подрагивали под ногами узкие сходни, оснеженные утренником. Десять человек взошли по скрипучему мостику на пароход. Все разместились на кормовой части, никому не хотелось спускаться вниз, в четырехместные, прокопченные дымом каюты.

До отбытия буксира осталось еще полчаса, матросы проверяли канат, тянувший баржу, закрепили плотнее брезент на мешках с каменным углем. На пристань тем временем прибыли провожающие и небольшой кучкой столпились у мостиков... Отец Павел вглядывался в них и предчувствие почти невыносимой для сердца дали овладело им. Куда его везут? Зачем? Что там делать? Иркутск, Ленинград — большая суша, ее можно преодолеть рельсами — шемаще проносились мысли, преодолевая одна другую, а сейчас, кроме рельс, его начисто, навсегда разделит со всеми, кто дорог, шестьсот километров речного пути и сто пятнадцать — страшных обрывистых скал — до самого Вихорева. И простор ангарских волн с перебегающими по ним гребешками проник в его сознание образом вечности.

Прокатился первый гудок. На буксире все оживились, привстали с мест, кто-то навзрыд плакал на пристани, и «Тигренок», все еще прикованный к берегу, слегка покачивался на темно-перламутровой воде. Момент — и еще один пассажир грузно перекинулся на палубу и чуть не упал, но удержался на ногах, прижимая к груди большой бумажный картуз с печеными пирогами. Он был в самом добром настроении, сильно навеселе, и сразу же спросил капитана, когда прибудет в Макарьевское? Капитан, щуря бурятские глаза, смотрел на него и улыбался.

— Тебе лучше бы, товарищ, в каюту, места есть... До твоей остановки и поспишь — десять часов хватит, разбудим!

— Товарищ капитан — приставал пьяный, — позволь спросить, прямым путем пойдём по реке или косым?

В публике хохотали. Пьяный перед отбытием буксира — какое приятное развлечение! Но капитан даже от пьяного не допустил панибратства или насмешки над своей Ангарой и, полный достоинства, сейчас же встал на защиту родной реки.

— Не мели ерунды! Плесов наших точно не знаешь? Какой же ты сибиряк?! Видел змею, как вьется? Прямой ему путь! Иди вниз спать. Тошно слушать!

Буксир вторично загудел, выпуская из трубы дымное облако. Весь пароход приник к бортам. Укоров подошел к отцу Павлу, словно угадав его состояние. Капитан встал, как замер, на мостике. Тем временем пьяный человек неловко перекинулся всем корпусом к Укорову и к отцу Павлу, пытаясь на неверных ногах подойти к ним, вынул кусок пирога из бумажного картузика.

— Прими, сделай Божескую милость! — совал он его чуть ли не в самый рот отцу Павлу. — Окажи мне такое почтение, из печки — на, закуси!

Пришлось взять кусок под неустанные просьбы. Принимая хлеб-соль, спросил дающего об имени. «Анисим!» И так был поражен отец Павел совпадением имен, так задумался он... что третий гудок, толчок, скрип снимаемых сходней, приказ «отдать концы!», влажный шлеп каната — все прозвучало для него как-то издали, как во сне... Вот капитан с мостика в трубку, глухо, как в противогазе, посылает вниз «тихий ход!» Вот колесный буксир отделился от пристани и вступил в свое шестисоткилометровое плавание, а отец Павел, глубоко погруженный в свои мысли, пропустив минуту отчаливания, только тогда проснулся от никому неведомых снов, когда «Тигренок» уже вошел в предначальный Иркутский широкий плес, оставляя за собой стены города, колокольню собора, окраинные строения, вокзал, ленточку товарного состава на путях... Все это меняло цвета, блекло, уходило назад... Иркутские берега туманились и заволакивались серовато-розовой пленкой; вскоре, медленно тая в лучах еще невысокого солнца, проплыли очертания суровых стен Иннокентьева монастыря.

Все переселенцы и конвоиры были на корме, никому не хотелось, несмотря на холод утренника, спускаться вниз в каюты. Отец Павел замер в своих думах. Укоров подошел было к нему и удалился, видя, что мысли его спутника улетели далеко, а кусок пирога, завернутый в платок, лежит на скамье, рядом с ним...

Вот такая картина возникла, ожив до реальности, перед глазами поселенца-священника. Большая светлая келья монахини Анисьи, блаженной старицы Новодевичьего монастыря. Накрыт стол, праздничная трапеза, а матушка Анисья со своей молодой келейницей сама обслуживает гостей. В числе гостей — он, отец Павел, две монахини, ктитор из Александро-Невской Лавры, два соборных протоиерея. У каждого гостя по тарелке, по прибору, но отца Павла ловко обходит матушка Анисья! Ни тарелки, ни вилки с ножом у него нет, а кусок свежее испеченного капустного пирога она кладет

перед ним прямо на скатерть; как ребенка, гладит по голове и приговаривает: «Ешь, ешь, пирог, батюшка ты мой, не стесняйся! Сегодня — сыт, а завтра рад будешь кусочку, как поедешь по широкой реке... Руками управляйся, ешь, привыкай!»

Гости — кто смутился, кто засмеялся, — отец Павел за послушание ел пирог руками, и тогда, в те мирные счастливые годы, не размышлял ни о чем. Знал одно: чудит Анисья. А она — блаженная, что ей до правил, до норм поведения обычных людей! Когда после пирогов пили чай, взяла книгу и подала лаврскому ктитору: «Читай мне, а я послушаю, как читаешь!» Ктитор читал, она его останавливала, поправляла и все так метко своим рыбинским наречием, с таким живым юмором, что случай с пирогом затухался и никто о нем тогда не вспомнил и даже не обратил должного внимания.

А теперь, несмотря на то, что там, в далеком Ленинграде, да и в Иркутском распределителе его уже звали «психически потрясенным», неполноценным, он — этот самый «неполноценный», снова и снова вникал и углублялся в непостижимое, проникновение в суть вещей, в загадочный и близкий сердцу мир откровения и предвидения... Как могла разуместь о широкой реке блаженная монахиня Анисья? Он сейчас едет по широкому плесу, рядом с ним кусок пирога, поданный ему «Анисимом»... Совпадение имен, тайна... Размышляя, вникая и благоговей, он в эти минуты забыл себя, свои скорби, далекий путь... Все земное стало ничем. Через подаяние он перестал быть пленником, рабом. Журчало колесо парохода, рассекая гребни волн...

«Непостижимы пути Твои, Боже! — и он широко перекрестился, глядя вдаль. — Стези Твои в водах многих»...

Тихо подошел и сел рядом с ним Укоров. Он все время искал случая поговорить о своем, но до сих пор не удавалось его заветное желание... Кипело в груди, наплывала поселенческая скука... Он принял поданную ему часть пирога и молча стал есть.

— Скучаете, как я вижу? — ласково спросил его отец Павел, угадывая состояние молодого человека. — Ну ничего, мы скуку в селе прогоним... Работа вас ждет... не то, что нас, стариков.

Голос Федора звучал ворчливо и сурово, не в лад его приязни к отцу Павлу:

— Еще бы не скучать! Чуть жить начал после лагеря и — марш опять. Лучше бы порешили меня сразу. Я уже говорил — как и за что — сам не разберу, правды искал, а мне политику пришили...

А я таких людей, как вы, давно ищущу... Хочу с вами по душе... по искренности, обо всем, чтоб ничего не скрыть.

— Только всю правду — не лгать! — предупредил его отец Павел. — Иначе и слушать не стану...

— Всю правду до нитки! — говорил Федор. И в его голосе звучала искренность до слез. Только вы «ты» мне говорите, я не привык. Буду вам — как сын... Отца-то не знаю... Идет?

Так, как произошло с Федором, бывает с людьми, особенно с молодыми, когда они, завертевшись до одури в клубке запутавшей их жизни, начинают искать выхода из такого клубка и жаждут донага открыть всего себя другому человеку, вынуть перед ним свою душу из самой глубины и перепахать. И такой человек встретился ему в тюрьме — истощенный, больной, в своем поношенном, но священническом облачении, смотревший на всех каким-то особым, светлым взором. Федор узнал, что он идет с ним одним этапом и в то же село. «Пусть он меня поймет! — сразу решил юноша. И тут же своевольно подумал: — Не поймет, не станет слушать — не надо!»

«Всю правду» — вот что прозвучало ответом на его сомнения, сладостная боль покаяния и грядущая за ним отрада наполнили душу.

Отец Лиговский

Пароход шел неспешным ходом, выкидывая белые дымки, чуть покачиваясь на широкой волне, таща за собой плотно нагруженную баржу. Люди чувствовали себя на буксире свободно, конвойные их уже не стесняли. Они были теперь «свой брат», их дело сводилось к тому, чтобы сдать поселенцев по счету в Братск, или, как его по старинке называли, «Братский острог», а самим вернуться с последним рейсом в Иркутск.

День распогодился, все были на корме. Скалистые берега Ангары опрокинутыми вершинами тянулись в реку — то мшистые, то нагие, то местами одетые хвойными побегами, то покрытые молодыми порослями тайги. «Видовое кино!» — выразился кто-то из поселенцев. Одинокий кедр, вросший чуть не в самую реку, ронял в воду свои шишки; чайки легкокрылой семьей, отлетев от волны, садились на скалу; орел, взмахивая крыльями, высоко парил в суровом небе. Глубоко вздохнул отец Павел, внимая окружающим звукам, впивая в себя величавые картины сибирской осени и

никому не слышно шептал: «Здесь покой мой, здесь вселюся на веки». Только что пройденный им жизненный путь переставал быть реальностью. Ангарские воды влекли его душу вперед и вперед в неведомую даль, не имеющую еще реальных очертаний. С ним происходила та перемена, какую нетрудно уследить опытному врачу, наблюдающему за трудным больным в моменты сдвига к лучшему самочувствию. Все, что влекло его в тюрьме к распаду, к одеревенению, к торжеству смерти над истоками жизни, — исчезало, уходило от него, как уходит тяжелая болезнь. Он просыпался, сидя на корме, в своем овчинном широком тулупе, в сознании вспыхивали забытые святые слова, его глазам виделись новые картины и то, чему еще нужно было прозябнуть в нем, — прозябало, давая ростки.

Он сам не мог наблюдать за собой, как нельзя человеку правильно сосчитать и оценить пульс у самого себя, но уже тянулся к его личности юноша Укоров, ища помощи и внимания, но уже плакал на его груди в Иркутске бледный арестант, прося молиться... И психически потрясенный, неполноценный, как его называли тюремщики, священник оживал здесь на буксирном пароходе, впитывая в свою больную, потрясенную грудь все, что может только дать человеку целебная сила матери-природы, а все это заключалось в могучих словах «вода—земля—небо».

Суровые тени вечера сгущались. «Тигренок» шел извилистым плесом, кое-где обходя некрупные пороги. На пароходе зажглись огни. В нижнем помещении буксира народ уже размещался по койкам. Укоров принес чайник кипятку, заварили плиточный чай. Они с отцом Павлом подкрепили свои силы кое-чем из дорожного запаса и уже собирались остаться на ночь в каюте, как вдруг отец Павел заявил о желании подняться снова наверх. Пусть на корме свежо, а ему хочется к небу, к звездам, к пенящейся волне и еще не то видимым, не то угадываемым берегам лесистого Макарьевского плеса. И они снова поднялись на палубу.

Буксир шел, замедляя ход, заунывно гудя.

— Подходим к Макарьевскому! — раздалось наверху.

— Сколько простои́м? — спрашивали капитана. Оказалось, около получаса...

— Макарьевск — большое село, там выгрузим уголь, — сообщил капитан и спохватился: — пьяненького разбудить! Его стоянка!

И по буксиру понеслось: «Кто до Макарье́ва — собирайся!»

— Стоп! — взлетела кверху петля каната. «Тигренок» слегка по-

качнулся, стукнулся о стенку пристани. Раздались голоса, вышел пьяненький, вошли трое макарьевских колхозников, легко, почти по-юношески, перепрыгнул через сходни еще один новый пассажир, немолодой, с небольшой седеющей бородкой, в длинном осеннем пальто, в русских сапогах, в мягкой фетровой шляпе, с небольшим чемоданчиком в руках.

«Вроде как иностранный господин — и звать такого товарищем неудобно», — сообразил Укоров и сразу отодвинулся от отца Павла, уступая новому месту.

— Садитесь, тут есть место, — сказал он приветливо-грубовато. Тот сел рядом, подsunул под скамью чемоданчик, втягивая в грудь пленительную свежесть вечера, а также специфический запах паровой гари. Осмотревшись вокруг, прибывший взглянул на соседа, а тот в свою очередь на него... Вопрос: «Он ли?», неожиданность радости, вместе с тем какой-то испуг при взгляде на знакомое изменившееся лицо и вслед за гаммой впечатлений: «Вы ли это — отец Павел?» — прозвучало заключительным аккордом.

Новый пассажир был отец Владимир Лиговский, друг и приятель юности отца Павла, товарищ по Духовной Академии. Отец Лиговский отбывал последний год своей ссылки, истекал его срок пяти лет, но он по роду обвинения был менее опасен, пользовался и сейчас почти неограниченной свободой, служил в селе Макарьево письмоводителем, там проживал, но его посылали в Братск, и в Заярск, куда он сейчас и направлялся с отчетом по зерносовхозу. Старым знакомым предстояло провести восемнадцать часов, включая наступающую ночь.

Краток перегон!.. А разговорам, казалось бы, нет и конца. Больше говорил Лиговский — он по одышке, отрывистому дыханию отца Павла понял, как трудны ему и движения и речь. Да как-то им было не до воспоминаний юности. Отец Владимир участливо всматривался в него, расспрашивал о том, о другом и вместо главного, всеуясняющего разговора между ними вспыхивали только искры слов, но они, подобно зарницам, освещали все, что постигло за последние годы друга юных лет...

— Значит тебя в Зарихово? — в словах звучала и забота, и какое-то недоумение. — Большое село, колхоз теперь. Церковь второй год как закрыта. Попробовали и там коллективизацию. Трудно, переругались все, а толку нет. Многие еще по старинке проводится. Насчет тракторов и прочего — дело будущего. Пока что доставка их невозможна — сам увидишь, каков путь. Досада, что в Братск не

назначили, там можно бы устроиться, достать кое-какую работишку, все же веселее!

— В Братске... как бы центр, нельзя туда таких, — не то грустя, не то удивляясь вопросу, говорил отец Павел.

— Центр — не центр, белки все-таки по деревьям не скачут! — улыбался Лиговский. — Я слышал, от Братска в будущем ожидают многого. Через некоторые годы начнется грандиозная стройка на Ангаре. Тайгу порубят, пути проложат. Вот тогда Братск приобретет большое значение... Но все же меня интересует твое назначение. Что будешь делать в Вихореве? Жить посылками? Вести зерновой подсчет? Выдавать книги, да есть ли они там?

Его собеседник молчал. Между ними сразу оборвалась нить разговора. То, о чем говорил, даже мечтал один, не увязывалось с состоянием другого. Это отец Владимир сразу понял и умолк. Случайно бросив взгляд на лицо отца Павла, он, несмотря на скудный отсвет уходящего дня и вечернее освещение буксира, увидел на щеках, губах, на лбу своего друга игру теней — пепел, воск, синеву.

— Решил не думать ни о чем... — снова упали отрывистые слова. — Болен я... видишь ли... одна мысль — добраться. Помнишь в Библии? «Иаков пошел путем своим и встретили его Ангелы Божии». Подобное и со мною. Одежда в пути вообще задержалась, добрые люди дали свой тулуп... Сил не было — подвезли до пристани... Юноша тут один хлопчет, помогает... как сын... да, как сын — родному отцу.

У отца Владимира был иной путь изгнания — более ровный и вне роковых приговоров и потрясений, правда, сначала обвинение звучало грозно. Контрреволюционер словесного происхождения — блестящий проповедник. Вот уже пятый год, как он здесь, под Братском. Местные власти ему доверяют. В тюрьме на первых порах его продержали недолго, но в одиночке, по обвинению «в антисоветском направлении публичного слова — проповеди». Сейчас все уже позади. Он сыт, ему платят по ставке, и скоро кончится его срок. Он начал уверять отца Павла, что и ему скостят назначенные годы, упоминал об «амнистии», утешая так, сам не верил в правоту своих слов, но безмерное желание утешить и ободрить владело им. Отец Павел слушал его, не перебивая, понимая, что старый друг хочет облегчить его глубокую рану, но он знал, что эта рана неисцелима. Так сидели они рядышком на корме, впивая благодатную свежесть надвигающейся ночи, переживая радость встречи, нечасто взглядывая друг на друга, а буксир все шел и шел, рассекая волну.

Еще лет за пять до своего изгнания отец Лиговский хоть и редко встречался с отцом Павлом, но хорошо был осведомлен о его семейной жизни и разводе с женой. Последний раз они виделись на соборном богослужении в Лавре. Шла всеношная под Сретение. Торжественная лития, сияние крестов и рипид, и среди собора священников — отец Павел в блестящей ризе и высокой митре. Он ли — тот человек в сибирском тулупе, сидящий рядом с ним на корме торгового буксира, низко нагнувшийся голову, как-то втянув ее в плечи? Сухое покашливание, краткие ответы придушенным, пресекающимся голосом. Бывают в жизни сны, когда человек, лежащий в болезненном жару, видит то обрыв, то горы, то какие-то неясные и несуразные сопоставления событий — один из таких снов видел сейчас наяву здоровый, не в жару находящийся Лиговский. Ни к чему были здесь утешения, слова о работе в селе, об амнистиях. Такие речи лгали на истину, они могли даже оскорбить сидящего рядом. Молчание легло между ними, за высокой кормой плескалась волна, в ней золотыми искрами отражались пароходные огни. Становилось холоднее, шла ночь, почти зимняя, морозная. Уже пора было идти в каюту. Как бы очнулся отец Павел, поднял голову.

— Все Божия воля. Забота у меня большая. Ведь скоро два года как я лишен духовного подкрепления, и как уйти отсюда без такой защиты? Грешен, немощен, болен... Видно, по грехам... так и уйду.

Но Лиговский быстро прервал его речь:

— Радость ты моя, батюшка! — со слезами сказал он. — Какой же ты счастливец и счастливец я! Ведь то, о чем ты тоскуешь, — у меня на груди... Ездил только что по делам службы в колхоз, и там привелось мне... один больной... А сейчас — неожиданная встреча с тобой. Вот, возьми, погоди, я сам... Никто не смотрит? Сам на тебя одену... В мешочке — ковчежец, а мешочек на тесемке. Там все найдешь, не на один раз...

И он бережно снял с себя, расстегнув рабочую блузу, черный мешочек плотного шелка на тесьме, надел его на отца Павла, запрягал в складки его одежды, помог застегнуть ворот тулупа и, нагнув голову, поцеловал то место на груди, где был спрятан его подарок. Все произошло быстро, ловко и вовремя, — к ним уже подходил Федор Укоров и еще один поселенец, звать их в каюту — внизу все уже давно улеглись на покой и похрапывали.

— Пойдем и мы отдохнем, отче! — уже совсем по-иному, радостным бодрым тоном обратился к нему Лиговский, но, видя недоумение и растерянность в глазах отца Павла, принялся ему растолковывать, как не совсем уяснившему всю важность того, что он от него получил.

— Понимаю, благодарю, — был ответ, — но ты сам-то как же? Мне отдаешь Жизнь, а сам?

— А я сам — Бог даст, достану! Скоро воля. Поеду в Иркутск ликвидироваться. Собор-то еще там открыт... Обо мне не беспокойся!

Тут в их беседу вмешался Федор.

— Я, конечно, извиняюсь, — так начал он, — но на палубе сыро, а они совсем больные, а я их здоровье оберегаю, может, никому оно так не дорого, как мне, и я, хотя бы даже силком, уведу в рубку, там погреемся, тепло... идемте со мной, отец Павел!

— Кто же это о тебе так печется? Скажи на милость, каков! Жалеет тебя? — спускаясь вниз за отцом Павлом и Федором, спросил Лиговский.

— Это Федор, да еще Стратилат... вот и воинствует, — объяснил в каюте отец Павел. — Помогает мне в пути. Вместе вот едем в село. Он — хлеб зарабатывать, а я — проедать...

Укоров рывком схватил руку говорившего и прижался к ней губами.

— Прямой ты Стратилат, — шутил Лиговский. — Я так рад, отче, что ты не один... Простимся с тобой, мне выходить утром в Заярске. Может, спать еще будете. — И он рука в руку простился с отцом Павлом.

— Храни тебя Господь!

— Кто же он такой? — шепнул Укоров.

— Такой же, как и я, — был ответ. — Вместе учились когда-то...

Около двух суток шел «Тигренок» по извилистым плесам Ангары. В Заярске рано утром выходил отец Лиговский. Покидая каюту, где провел ночь с отцом Павлом и Федором, он тихо подошел, чтобы проститься. Оба спали. Отец Владимир осенил батюшку крестом, молча постоял над ним. Открыл сонные глаза Федор, закивал уходящему и совсем проснулся от брошенных ему слов:

— Не оставь батюшку, и Господь тебя не оставит!

Последний переход

Шел двадцатый час водного пути. На горизонте все яснее и ближе обрисовывались две пологие высокие скалы, почти симметрично расположенные с обеих сторон реки; они походили на крылья большой птицы. Еще немного, и «Тигренок» вошел в тень под навес этих крыльев, стремясь вперед и вперед к пристани по течению реки, протекающей между ними. Горы слились со скалистым лесом, буксир загудел — и, устало рассекая волну, подошел к Братску...

Поселенцы со своими узелками и чемоданчиками вышли на берег — им предстояло ждать следующего дня, чтобы отправиться в последний путь — сто пятнадцать километров до Усть-Вихорева. Иркутские конвоиры тоже покидали Братск через сутки. «Тигренку» надлежало запастись углем и двинуться обратно с большим риском бурана. Погода резко менялась, дул северянин... Отца Павла и еще двух слабосильных устроили до выхода в село на борту парохода. Из Братского НКВД назначили трех конвоиров, хорошо знакомых с местностью, сопровождать поселенцев до села. Транспорт состоял из крепкой сибирской лошаденки и трех тележных ящиков на колесах с высоко поднятыми краями. Более сильным и не подверженным головокружениям предлагалось идти пешком, но местами извилистые горные тропинки пролегали над крутыми обрывами, и перевозки в ящиках не избегал почти никто. Случалось в этапной практике тех годов, что по опасным переходам перевозили по одному человеку, остальные ждали. Почти полпути от Братска до села поселенцы шли пешком по сравнительно хорошим тропинкам, не пользуясь тележками, — они праздно грохотали по промерзшей каменистой почве.

Отца Павла с самого начала пути посадили на лошадь. Он неловко, с помощью товарищей, водрузился на мохнатенькую кобылку, ее вел под уздцы местный конвоир, а его то и дело сменял Федор. Тулуп «рыжая овчинка» служила седлом, на самого путника накинули солдатскую шинель; на тулупе сидеть, как на подушке, было мягко, но от непривычного высокого положения брал какой-то болезненный страх, и тогда неопытный седок схватывал руками лошадиную шею, ему казалось — он падает. И сразу же раздавался молодой голос Федора: «По бокам нельзя смотреть, голову завертит!» Пройдя от Братска шестьдесят верст, поселенцы заночевали на лесистой лужайке в безопасном месте, в окружении

молодой заросли пихт, сосен и елок. Костер потрескивал сухью и шишками. Ночь спустилась наземь, морозец в пятнадцать градусов, лошаденка отдыхала, привязанная на бечевке к молодой сосенке, пыхтели махоркой солдаты, отцу Павлу даже душно стало у огня в тулупе. Высоко в небе раскинулась лучистая звездная россыпь. Наутро — тот же извилистый кряжистый путь. По склонам скал тянулась тайга, осенняя, цветистая, то оранжево-красная, то иссиня-зеленая, —каких только красок не набросала осень на палитру суровой природы...

Местами все опаснее и уже становились тропы. Осторожно, шаг за шагом, вел под уздцы лошадь Федор. Транспорт между поселенцами менялся. То, как только позволяли тропинки, отца Павла пересеживали с лошади на тележку, и он, еле дышавший от слабости и сердцебиения, переживал «путь во гробах», а на лошадь нагружали другого седока. Ехать в тележке с поднятыми боками, не смотря по сторонам, чтобы не закружилась голова, было, пожалуй, удобнее, чем верхом, но жестко и мучительно тряско. Дорожки иногда расширялись, и путники вздыхали с облегчением, затем снова начиналось трудное передвижение людей на лошади и в тележках-гробиках.

Переживая трудности дороги, отец Павел болезненно вспоминал об Але и ее намерении ехать за ним и молился, чтобы ей избежать горных тропинок, лошадей, всего, чем изобилует путь. Молился о том, чтобы ей не пришлось переживать горных обвалов, гробовых ящиков, головокружения.

— После зимнего Николе дороги лучше будут, — сказал один из конвойных, — а сейчас, если буран, то ужаста одни. В пропасть так и снесет!

Тропинки постепенно снижались и переходили в обычную, довольно широкую горную дорогу. Обочины ее блестели инеем, белели оснеженными можжевельновыми кустами и побегамии сосен, елок, кедров, пихт. Глазам открывался небывалый по красоте и простору вид. Далеко, со стороны левого берега Ангары — извивалась Вихоревка. Зигзаги дороги шли вдоль озера и подходили к старой церковке, давно закрытой, с типичным конусом-куполом всех северных церквей. Ее окружали кресты могильника, поросшего кустами черемухи и ольхи. Направо, налево — зубцы темнеющей тайги. Недалеке виднелись очертания крыш, над ними вились дымки, доносился лай собак — подходили к селу.

Евграф Захаров

Почти на самом краю большого сибирского села, немного выпирая из ряда околоченных изб, сверкал чисто вымытыми оконцами дом зажиточного, а в те дни слегка раскулаченного крестьянина Евграфа Захарова. Крайние избы, как природной декорацией, окаймлялись елками, соснами и пихтой из ближнего леса. За ним шел вырубленный участок, дальше начинались поросли молодой тайги. Деревья по краям села, из-за массивности стволов и густых ветвей назывались еще так недавно «Евграфов лес» и относились как собственность к его личному владению. Захаров, старожил Усть-Вихорева, любил свой лесок, хвалился им и достаточно поскрежетал зубами, когда этот лесной отводок отошел частично к правлению села. Евграфу осталось только несколько деревьев позади дома, по ветвям которых то и дело, роняя шишки, прыгали белки. Дом свой Захаров обновил лет двадцать тому назад на славу, а в последние годы еще добавил к нему обширный сарай и уютный мезонин. Добротность бревен, высокие сваи, тесовое крыльцо с подъемом на четыре крутые ступени, затейливые фигурные надбровья повыше прочих ставен обличали зажиточника. Несмотря на некоторую замкнутость нрава, угрюмую внешность, с ним считались и его уважали. Он был еще не так давно церковным старостой, и от крестьянства ему шел первый поклон. Но, как из песни слова не выкинешь, не выбросишь из крестьянских голов крепко сложившееся убеждение, что Евграф разбогател не по наследству, так как его родичи не выходили из середняцкого состояния, — все знали, что еще смолоду он ушел на прииски, вернулся с десятками и, женившись, занялся землицей и хозяйством и, хотя не порывал ни с кем из села обычных для всех приятельски-деловых связей, но кое-с-кем держался особняком.

«Есть, есть золото у Евграфа», — говаривали меж собой вихоревские сибиряки, а иной раз позволяли себе по-приятельски, в словесной болтовне, намекнуть, что в прошлом зажиточника, как хотите, а было нечто темное, лихое, в лесах совершенное, благодаря чему Евграф вернулся другим, совсем уж богатеньким, а в церковном деле таким усердным и рьяным, что никому за ним не угнаться... Часто и сам Евграф учительно, в праздничной беседе, сидя за пятым стаканом чая, упоминал о Святой Горе Афонской, о Киеве, о том, что душа человечья туда стремится, а ноги — грехи — как пуды, вросшие в землю, не пускают. «Небось про самого себя

говорит!» — думалось вокруг, но все молчали, вздыхая и поддакивая хозяину.

Семья Евграфа была небольшая: сам с женой Татьяной — тоже религиозной степенной женщиной, да еще в те поры гостила у них дочь, замужняя молодуха с дочкой, а сыну, получившему твердое задание от колхоза, пришлось надолго уехать в Братск.

Не так давно, меньше года назад, Вихорева коснулся закон о коллективном строительстве. Новый порядок трудно прививался в глухом углу Сибири, но таких, как Евграф Захаров, все же, сколь возможно, пощипали, кое-что реквизировали, лишили нескольких коров, овец и лошадей, а дом, после кое-каких бурных прений и даже сцен, назначали то под избу-читальню, то под лавку, то под амбулаторию даже! Таковой в Вихореве не имелось, хотя ссыльный фельдшер из Омска, Василиск Петрович, прибывший сюда года два назад на пятилетний срок, ратовал за нее и хоть не имел голоса в правленческих собраниях, но доказывал Евграфу Захарову о плюсах и правильности благородного поступка, если тот отдаст нижнее жилье под медицину, и даже краснобайски утверждал, что такое дело отметится в истории Братского края.

Трудно сказать, чем вызволился Евграф, в воде не тонувший, в огне не горевший. Его костили, называли «филонщиком», «буржуем», «мелкотравчатым элементом», но его изба, крепкая, двухэтажная, со светлыми оконцами в голубых рамах, не стала ни амбулаторией, ни лавкой, ни читальней, ни яслями. Все такие учреждения разместились в других избах. Лесок Евграфа все же обрекли на вырубку. У Захара взяли, кроме скота, упряжь, кое-какие запасы, кое-что из хозяйственного инвентаря, но и то при бурном вмешательстве Татьяны: она, потеряв свою степенность, обратилась в львицу, о чем после боя и выигранного сражения любила рассказывать односельчанам. Но сам хозяин держался, словно у него ничего не произошло. После своего некоторого обеднения не приземлялся, не канючил, вел себе вполне мирно, сознательно и как прежде оставался в числе первых лиц колхозного правления, принимал все новшества и указания председателя... Все же поместительные и светлые комнаты дома Захарова тревожили головы большого села, и Евграфу вскоре предложили на сельсовете уплотниться и принять к себе кое-как ютившихся жителей бедняцких избенок, хотя бы семью Сидоровых: они гнали самогон и дрались между собой. Захаров был приперт к стене таким предложением. Выкрутив свое помещение из судьбы читальни, яслей,

больничек, он понимал, что одним инвентарем да двумя лошаденками, да кое-каким хозяйственным добром и несколькими природными угожьями не обойтись. И пример другим подать надо, и даже поблагодарить малость за то, что его потревожили более деликатно, чем многих других. Но взять к себе Сидорова с семьей, чтобы он запакостил самогонным духом его жильё! Никак! В селе ждали новых поселенцев из Иркутска. Они не сегодня-завтра явятся, их надо размещать. Сколько их уже здесь перебывало, и некоторые еще отбывают срок! Словно что-то осенило Евграфа Захарова. Он явился в правление и заявил председателю Пимену Семенову, что он согласен на вселение к себе жильцов, отдаст им верхнее помещение — мезонин с просторным чуланом и спальней-боковушкой, а сам с женой и дочерью перейдет вниз, разгородив большую комнату надвое, как об этом и толковал, но просит, чтобы правление поместило к нему новых поселенцев. Он свободно примет двух-трех человек. Пимен Семенов удивился. Все высылаемые в дальние села Иркутско-Братского края все-таки считались неподходящими, им приписывали многие пороки, к ним относились зачастую с подозрением.

— Что тебе вздумалось — поселенца, Захарыч? — вопрос Семенова после недавнего боя за избу звучал даже дружелюбно. — Ведь мы хотели маленько тебе же пособить, дело сложное, сам кумекаешь — проводить в глуши такую новизну! Чтoб все тихо, мирным порядком! Мы и давеча тебя не утеснили, маленько посбавили добраца, так ведь по закону? Обошлось без твоего жилья. Пожалели старого приятеля. Понимать надо!

— Покорно благодарю, — и Евграф разгладил бороду. — А все-таки... Дашь мне высылных? Парочку? Трoечку?

— А на кой шут они тебе? Мы хотели тебе же, друг, пособить, а ты сам в петлю лезешь. Кое-кого из Сидоровых отбавить, чтобы не дрались между собой. И у них был бы лад, да и ты никак не стеснен. Мы бы к тебе, если не их, то старика Кузьму с племянником, что в лавке торгует, поднасыпали, а ты вон какого элементу захотел! Поселенцев разместили бы промеж кой-кого. Поближе к власти — поспокойнее. Ты вникни в то — не посреди села живешь, ближе к краю...

Но Евграф твердил свое:

— Поселенцев желаю, — сказал он твердо. — О душе надо думать, вот о чем. Чуешь?

Зоркий взгляд Евграфа так и жег Семенова из-под волосатых бровей. Председателю даже стало не по себе.

— Чую... Да ведь какие люди они теперь? Значит, ты хочешь, чтоб у тебя еще маленько отбавили? Отбавят, да уж не по закону.

— Куда им отбавлять? Куда нести? В тайгу, под сосну. Эх, Пимен Семенович, народ-то ведь какой. Самый убитый они народ.

— Как раз... Змею полосни раз-другой, половина вьется, да и другая не отстаёт. Так и поселенец. Беда с ними. Вот их десяток прибудет, а хлопот на сотню, сам, поди, узнаешь!

— Однако, — не унимался Евграф, — живут в селе и пятилетние сроки, и работают. И еще как работают. Обиход надо с ними иметь... это точно.

Просьбу Евграфа уважили... Председателю эта просьба была даже сподручна.

Усть-вихоревцы

Они пришли в село после двух ночевок в лесах, усталые, на третьи сутки по выходу из Братска, в полдень октябрьского погожего дня. На окраине стояла кузница, издали постукивал молоток, виднелся огненный круг раскаленного горна. Шла гуртовая перековка скота на зиму. Из села то и дело подводили лошадей, и люди с недоумением, даже с опаской оглядели десяток пришлых с конвоирами — один из поселенцев, только что снятый с лошади, тяжело опирался на руки молодого и еле дышал.

— Посиди, братва, на бревнах, погоди малость, подковать надо, ишь доковыляли...

Это был их последний привал перед грядущей некоевой жизнью. Разместились на разрозненных бревнах возле кузницы. В дверях появилась черная фигура закопченного кузнеца. Четыре лошади, кроме пятой, пришедшей из Братска, стояли на очереди. Хозяин распорядился:

— Давай твою, конвой, а вы погодите: когда тебе обратно? Как она у тебя дошла на таком гвоздике?

— Ей в привычку... Завтра уедем обратно. Как бы погода.

— То-то и есть. Ну, как придержи, ровней...

Усталая кобылка доверчиво отдала заднюю ногу.

— Ладно, хорошо... ступайте... в час добрый...

На подкованную буланку снова хотели посадить отца Павла, но он отказывался.

— Как-нибудь с Федором дойду, недалеко.

Шли селом, далековато до правленческой избы. Поблескивали окна, в них виднелись женские и детские головы, глядевшие на новых людей, на крыльцо выбегали ребята. Широкая дорога, затвердевшая щербатыми выбоинами от первых морозов, казалась почти нелюдимой. Мужское население колхоза работало: кто в лесах — на вырубках, кто складывал штабели, кто ладил и поправлял по сараям утварь, иные копошились у себя на крышах, отепляя их и чиня прорехи к зиме. Наконец, подошли к сельсовету, где председателю колхоза была отведена просторная комната, и там вновь прибывшие разместились на скамьях, свалив свою поклажу. Окинули взглядом стол, крытый запыленным кумачом, плакат: «Все к единой цели — коллективизации страны!», развернутый между двумя окнами, два профиля в ряд — черноусый телесно-живой и лилово-то-мертвенный в большой рамке над плакатом. Кое-кто закурил, конвойный пошел в лавочку, другой чистил винтовку. Просили воды, все хотели пить. Женщина принесла ведро, только что вытянутое из скрипучего колодца, и ковш. Все жадно принялись пить, едва пережидая друг друга. Мохнатенькую лошаденку, усердно послужившую в пути и только что подкованную, привязали во дворе под навесом. Она отдыхала, изредка взмахивая хвостом и мягко хрупала сено из подвязанного мешка. Гробы-тележки теперь казались большими детскими игрушками и тоже отдыхали у сарая. Люди задремали, притулясь друг к другу, но все с одной мыслью — когда-то распределят по квартирам? Та женщина, что принесла ведро воды, снова вошла и сообщила — идет! Явился Пимен Семенов с листком бумаги, сел к столу и стал записывать всех по очереди — имя, отчество, фамилия, кем работал до заключения... Все оживились. В избу прибывал народ, особенно женщины. Прошлогодний поселенец Иван Мамаев, работавший на мельнице, растолкал народ и просунул голову в дверь:

— А куда мы больного старика денем? Умучился... Верхом на коне его полдороги тащили. Сидит на завалинке у Максимовых и чуть дохает. Его бы куда в первый черед. Едва живой.

Все вышли взглянуть на больного. Отец Павел прислонился к стенке дома и тяжело дышал. Качали головами, разводили руками, бабы охали и вздыхали и, узнав, что перед ними священник, звали каждая его к себе.

— Родимый, как же ты добрался? Дорога-то к нам, ох и ох!

Около отца Павла суетился Федор. Он испугался внезапно

наступившего удушья, принес ковш воды, расстегнул крючок на воротах тулупа, брызгал на шею из ковша, все на него закричали: «Заморозишь, не лето, надо в избу».

— Нет, я прошу, здесь лучше, — внятным, но тихим голосом протестовал отец Павел. — У меня ведь часто так... пройдет... это с дороги.

На настойчивые вопросы о пути, Федор объяснил, что больного батюшку везли то «во гробе», как и других, то тихонько под руку, то на лошадях, а он сам, а его зовут Федор Укоров, был его спутником от самого Иркутска, с тюрьмы.

— Добрые люди еще есть! — вздыхали вихоревские сибиряки на Федора.

— Никакой я не добрый, а душу он из меня вынул, вот как его жалко, — беглым шепотом, отстраняясь от затихшего отца Павла, объяснил Федор. — Мы их раньше как почитали? За отцов... А нынче? Пришла беда, и какая еще на них... неминуемая... — Он озирался, не слышит ли кто? И снова двинулся к отцу Павлу.

— Ты сам-то откуда? Братский? — спрашивали Федора. — Где отсиживался? За что тебя?

— Омский, из пересыльных, — нехотя ронял слова Укоров. — Припаяли к политике, да и сюда на три года, чего там болтать! Моего больного поскорее к месту устроить, обо мне речь маленькая!

Навстречу им шел Евграф Захаров. Он был в лесу, не сразу узнал о прибывших, торопился и, зайдя за правленческую избу, набрел на группу людей, окружавших отца Павла. Ему объяснили, что этот больной поселенец — политический, священник из Ленинграда, что его еле довели, надо скорее к месту, к покою, уложить, согреть.

— Что ж? Ты хотел поселенцев? Примешь такого? — спросил Пимен Семенов, подойдя к толпе.

— Примаю, — кратко ответил тот.

В снях председательской избы стояли грубо сложенные носилки. Их не так давно соорудили поселенцы по указанию фельдшера Василиска Петрова, того самого, что мечтал об амбулатории и намечал для этой цели помещение у Захарова, но власти еще не давали ему разрешения свободно работать в селе по специальности, что весьма его удручало. Он не унывал, писал заявления в распред, ждал к весне положительного ответа, а пока решил так или иначе, а упрочиться в своем звании, хоть немного, да практиковать, и успевал в этом. Родные присылали ему в посылках лечебные травы.

Знакомый провизор тоже снабдил его необходимым, но запасы быстро иссякли, на всякий случай оставалась в настоящий момент санитарная сумка с выцветшим крестом, прибывшая с ним на поселение, да носилки. Отца Павла уложили на них и понесли к Захаровым, слегка колыхаясь по рытвинам широкой улицы. В звене шел Федор. Когда дошли до моста, он доверчиво тронул за плечо Евграфа:

— Не разлучай нас, дядя! — попросил он. — Я и председателю сказал, он позволил... Без меня больному никак. Уважь меня, я ведь работать буду. И тебе услужу — чем помочь. Только мне скажи, я все спворюю...

Евграф пронзил юношу глазами.

— Ладно, живи, — решил он. — Кто его знает, что ты за человек, но раз уважаешь таких... Только — чур, водки не пить. Сразу выгоню, другого возьму, так и понимай!...

Больного внесли в дом, в нижние просторные сени под визг и лай мохнатой дворняжки. Отсюда отец Павел с помощью хозяйки и Федора поднялся наверх, в боковушку, светлую просторную комнату. При ней находился поместительный чулан, в нем свободно можно было спать, а маленькая дверь из чулана вела в сени. Татьяна Федоровна, жена Евграфа, помогла отцу Павлу взобраться на широкую кровать с горой подушек, холщовой домотканой простыней с нарядным кружевным подзорником, причем он извинялся, что временно принужден пользоваться хозяйским бельем, но что скоро придут его вещи, посылки и тогда... На это Татьяна махала руками и слышать ничего не хотела.

— Молчи-ка, молчи, родной наш! — приговаривала она. — Добра холщового у нас пока не забирали, а на тот свет его не потащим... хватит на всех...

Мыло, лоханку, ведра, табуретку, все принесла она снизу, приспособила, приколотила висячий умывальник к стене, но отец Павел так изнемог от пути, что лежа только обтер лицо и руки мокрой холстинкой и задремал. Но как только в селе узнали, что у Евграфа поселен священник из Ленинграда, так и начал собираться люд в боковушку, главное — женщины. Привели детей под благословение и расталкивали всех, пробираясь к батюшке. Татьяна всех упрасивала не толкаться, дать покой, свирепел на баб и Захаров. Федор тем временем сбегал в сельсовет за документами, отданными на просмотр, а придя обратно, ужаснулся наплыву людей в боковушке. Он тоже хотел принять участие в их изгнании, но встретил

отпор со стороны самого отца Павла. Он проснулся, осмотрелся, улыбнулся народу, по возможности удобнее приподнялся на высоких подушках и начал благословлять пришедших, а когда все ушли, то стал просить извинения у хозяйки за доставленные хлопоты. Но если они имели место, то всецело были искуплены той радостью, которая так и светилась в глазах получающих благословение. Прошло несколько минут — снова наплыв посетителей, и уже с приношением: одна протягивала ему туесок с черемуховым повидлом, другая совала пяток яиц, а третья спрашивала, не может ли он, ужо, как поправится, окрестить ее младшенького. Церковь два почти годика закрыта, а батюшку увезли незнамо куда, и сынок так и остался без Святого Таинства...

Насилу ушли. Снова задремал батюшка, а Федор прикорнул у его ног; напрасно Татьяна звала его отдохнуть в чулане, где ему приготовили кровать. Уже темнело густо набегавшей синью, когда в боковушку заглянул фельдшер — познакомиться с больным. «Все же тут практика, сердце, — соображал он. — А так со скуки зачахнешь и все забудешь, что учил... Да! Но как же обращаться к такому нелегальному элементу? Да еще служителю культа? Батюшка? Но какой он ему «батюшка»? По имени-отчеству? С какой это стати — точно он ему старый знакомый? Только по фамилии? Неудобно тоже. Товарищ? Совсем плохо. Нет, уже просто лучше на «вы»... — И с такими мыслями он появился перед отцом Павлом, еще раз представился ему, спросив, удобно ли ему было лежать на носилках его изобретения. Посчитав пульс, больновато нажал пальцами в двух-трех местах отекающей голени и откровенно поморщился при виде ямок.

— Я вам травки дам! — И он занес фамилию отца Павла в блокнот. — Хорошая травка, ни у кого ее нет, а у меня есть. Называется «адонис». Ее настоять, процедить и по 4 ложки в день. Затем покой, сон, молочко, пища легкая. Надеюсь, вы поправитесь... Климат у нас суровый, но полезный. Итак, сон, покой, молочко, простокваша. Затем — имею честь. Я тут недалеко квартируюсь. Евграф Захарович меня знает. Вмиг — и я тут. — Он исчез за дверью.

Вечер наконец принес желанную тишину. Закрыли ставни. От ночлега в чулане Федор отказался. С дороги он устанет, так что не услышит ничего. Да и к чему такой почет? Он ляжет здесь, у ног своего больного, рядом с ним — доглядит, поможет. Татьяна Федоровна хотела было нацепить широкое полотнище над кроватью

отца Павла, но он умоляюще просил не стеснять его дыхания. Решили, если будет донимать мороз — то мигом раскинуть домотканый полог. Поговорили с Захаровым о самом главном — о плате за помещение и, несмотря на то, что хозяева не хотели и думать о деньгах, твердили, что отца Павла принимают по закону самоуплотнения, значит, как члена семьи. Все же согласились на такой обмен: отец Павел будет отдавать им содержание своих посылок, все пойдет в распоряжение Татьяны. Затем жильцы не будут касаться никакой стряпни и обедов: батюшка — по своему положению больного, Федор — по своей занятости: ведь уж с завтрашнего дня он будет весь в распоряжении колхоза, и разве только немногие часы может находиться при своем больном. Так и решили... Но только начали укладываться на покой, задребезжал входной звонок: у зажиточных он имелся. Стучали, кроме того, в дверь.

— Оторопи на вас нет! В такую поздноту! — ворчала Татьяна на двух женщин. — До утра что ли ходить будете? Спать ему надо после такого пути, а они, прости Господи! — И вдруг осеклась, увидя в руках щедрое приношение: женщины сразу развернули свои улы. То были душистые ноздреватые соты, под ними — миска овсяного киселя. Другая женщина поставила перед Татьяной глиняную чашку сметаны с творогом, свежим, только что из печи.

— Не серчай, сейчас уйдем, — шептали они. — Пусть он, батюшка, нашего киселька покушает. Пусть поправляется, кормилец наш. Как на него глянули, будто жизни прибавили... Ну и прощенья просим, Танюша!

— Помаленьку, потихоньку — и поздоровеет! — в лад бабам уже дружелюбно выпроваживала их Татьяна.

На поселении

Тихо стало. Федор озирался на новые стены, недавно выбеленный потолок, на зеркала, на лампадку и Спасов образ в углу.

— Хорошо тут у вас! — задумчиво обронил он. — Как в рай попали!

— И-их, парень, в этот прежний раз мы сквозь ад воротились! — и неумолимая Татьяна, сев к прялке, сучила нитку. — И раскулаченье приняли. Все у нас в селе смешалось — кто был ничем, тот стал всем. Коль скоро мы — кулаки, ладно, пусть так будет, а зачем свой на своих пошел, тот же Пимен Семенов — на своих же

грянул? Да еще как? Сын наш в отъезде, самого в ту пору дома не было. А они как сюда к нам нагрянут! «Даешь избу! Исчезай! Пропадай, кулачиха!» Было их трое. Пимен кое-кого научил, за себя поставил, чтоб, значит, нас единым махом раскулачить. Ну так вот, их трое — я одна... Ходят по дому, как хозяйева, — да план строят: тут у нас ясли, а не то, пожалуй, лучше читальня пойдет, да и для медицины годится... Вслух, эдакие-то нехристи, рассуждают, а я не растерялась, чую, в руках, однако, сила есть! Я в руки кочергу и шепотком воскресную молитву читать, и на них с кочергой сама первая иду. А они-то, власть наша сельская, дугу схватили. В сенях дуга стояла, только что новую справили, с голубыми цветами — и на меня идут в свой черед. «Куда ты лезешь — кричат, — ведь баба!» — «А хошь баба, хошь мужик, получай! А избы не видать, как своих ушей!» Сцепились. Я их учу кочергой, а они мне норовят кость дугой сокрушить... Волосьев сколько выдрали! На личности моей недели полторы синяк, что радуга, цвета менял, и на ребрах ушиб, и на плечах до кости кожа осажена, а им тоже досталось здорово! Вот тебе какая женка у Евграфа! Уж не знаю как, до света долежала, моченую капусту к голове прикладывала, а изба за нами и по сейчас. На другой день пришли снова уже впятером к самому, чтобы мирную реквизицию произвести. Все же распотрошили нас. Скотинки часть забрали, из вещей кое-что им отпущено. Лесок в правление отошел. «Ну и баба же у тебя! — шумели. — С эдакой не пропадешь!» И что ты думаешь, парень? Отстали от нас на этом, и наша изба за нами осталась, ни тебе она — читальня, ни она — больничка, ни она — ясли, а как была, так и есть — Евграфов дом... А ну, паренек, иди, ложись, завтра ведь не в гости, на работу... да и после дороги устал. Говорил твой-то, племянница к нему приедет? Да на кой ей, бабе ехать в такую-то страховину. Ты сам тут поработал, прибег, за ним посмотришь, мы доглядим, и все ладно... Дай фонарь, я тебе посвечу, а то по нашим переходам в сенях запнешься...

Отец Павел давно спал под их разговоры тем безмятежным сном, заработанным дальней дорогой, какому не мешали ничьи голоса, шумы, звуки. Он был у цели. Он был в Вихореве. Завершен первый день двадцатипятилетнего срока. Сначала от гудения в голове ему казалось, что он еще на пароходе. Потом в сознании наступил провал, и его объяли покой и тишина.

Федор поместился пока на полу, хоть в чулане и поставили ему раскладушку. Хотелось быть рядом с батюшкой, продолжить еще и

еще с ним свою дорогу. До сна он обошел с Татьяной по верхним сеним все чердачное помещение, где под самой крышей свисали полынные веники, в полумраке виднелись веревка и лыко, окружившие балки. Здесь было холодно, почти морозно. Крепкая отвесная лесенка вела вниз, в обширный сарай, где спали на соломе коровы, мягко пережевывая жвачку, от их помещения дощатой перегородкой отделялись овцы, еще чулан был для коз с козленком — везде чувствовалась хозяйственная рука, довольство, запас... Вверху, сквозь прорехи соломенного настила на крыше сарая, в синем, уже морозном небе, виднелись звезды.

Так устроился на поселение отец Павел.

Тревоги

Татьяна Федоровна накрывала в боковушке небольшой стол. Смеркся короткий осенний день. Отец Павел только что проснулся и смотрел на простую скатерть в квадратиках, на пшеничную буханку хлеба, на все новое, его окружающее, и, наконец, спросил хозяйку: «День или вечер?»

Оказалось, он проспал всю ночь и продремал полдня. Такое случалось с ним и раньше после усталости, в юности — экзамены, позднее — длительные службы и занятия. И как тогда, так и теперь, не сразу соображал, в чем дело? Увидя, что гость проснулся, хозяйка подошла к нему:

— Чай будем пить, батюшка, аль топленого молочка принесть? Отлежался ли с пути? Умыться хочешь? Нонечь — лежи, ат завтра, коль сильней будешь, в общую избу пойдем. Веселее. Люди у нас простые. Вольный народ... Да вот и Федя! Как дела, паренек?

Федор проработал полдня у самого Пимена Семенова в его сарае на дровах, там его сытно покормили, отпустили до утра, а в дальнейшем предстояла одинаковая со всеми работа. Без нее эти пришлые люди не могли бы прожить и дня... Все новые иркутяне сразу вступили в предзимние работы — кто на мельницу, кто в лес на вырубку, кто на подсчеты и ссыпку зерна. Пимен Семенов умел видеть способности человека и правильно его трудоустроить. Федору все еще не верилось, что он в селе, что его батюшка с ним и доехал более или менее благополучно, что кончились тюремные сроки. «Человеком настоящим, нужным будешь, Федя, только через труд и молитву», — сказал еще на пароходе ему отец Павел. И когда Федор рубил и колол председателю дрова, он вспоминал

сказанное, и в ослабевших после отсидки руках рождалась прежняя сила. Теперь только бы войти целиком в колхозные труды, найти хоть какое, да свое пропитание. «Быть честным!» И, сняв кожаную рукавицу, он вытирал глаза. Вокруг все новое: добротное, на века сложенные избы-дома, солнечный день с ветерком, по улицам крутится не то пыль, не то первый поземок, с утра в воздухе вились мелкие белые мушки. С момента входа в дом Евграфа у Федора родилось бодрое чувство — надежда на выздоровление батюшки. Юному и сильному поселенцу говорило о жизни все: и ласковый прием в новом жилье, и то, что им привелось поселиться у степенных зажиточных крестьян; мысль о том, что жирное молоко и творог помогут больному окрепнуть, тоже подбадривала его. А то, что они с ним поселились вместе? Разве это не знак того, что скоро пройдут его усталость и болезни. Большая, какая-то еще неведомая ему детская радость в избытке наполняла его. Он шел домой, как летел! Что-то батюшка? Хорошо ли спал? Не осаждают ли его до усталости новые люди?

Еще не приносили почты, да и не могло быть ее так скоро. Отец Павел думал об Але, об ее дороге. Как доберется, если все-таки настоит на своем? Головоломные пути, ноябрьские бураны, по горам пойдут оползни. Для него, такого немоощного, сейчас было реальным и удобным присутствие одного лишь Федора. Помимо своей воли он осознал в Алином приезде сюда что-то неудобное, недолжное — выходило в его мыслях так, что он становится помехой и тяготой в жизни любимой сестры Маши... Она так переживала бы отсутствие дочери — да и самую ее дорогу к нему. Он же тяготился Алиным возможным приездом, но тут же молился об ее путешествии и его благополучном исходе, соглашался на него и тут же волновался так, что еще до прихода Федора заговорил с Татьяной о своих тревогах.

Татьяна Федоровна была природного ума и не спешащая на ответ женщина. Она помолчала, перекрестилась и мягко заговорила, как запела:

— Помоги ей, Боже, добраться. Дороги, сам видел, какие. С каким конвоиром пойдет — разве лишь с почтой? Пиши ей, девочке, — пусть ждет морозов, не торопится. Разве что после зимнего Николы. Вы-то сами, желанные, без бурана добрались, ну, а как завьют? Эх, и ехать-то ей по-настоящему глядя — не для чего. Мы тебя все обходим. А уж если приедет, место ей всегда найдется. Федор к тебе, ее — в чулан... Ты, родной, об этом не

тужи... И работка явится. В лавке, в яслях, — может еще, и Василиск получит разрешение на больничку? Аптеку, говоришь, она знает?

Ее слова, такие ровные, тихие, успокаивали встревоженную душу. Вошедший Федор захватил часть их беседы. И странно было ему глядеть на Татьяну после вчерашних разговоров о побоях, о дуге и кочерге...

Внимательным взглядом человека, которому с детских лет доводилось видеть больше зла, чем добра, наблюдал он за ней. Как-то она будет кормить, когда он, Федор, до вечера уйдет на работу? Напрасно так щедро обещал ей батюшка все содержимое посылок для общего стола. Сибирячки иной раз скупы, их мужья тоже. На слова-то щедры, а на деле? И Федя, немного хмурясь, но не смея даже намекнуть батюшке о своих думах и соображениях, присел рядом с Татьяной поближе к самовару.

Все образуется

Крепкий, искристый сибиряк-мороз... Половины декабря уже нет как нет. На днях — зимний Никола, а дороги стали уже давно. Вблизи Усть-Вихорева они широки и гористы. Вот одна из них от почты до села — километра в два, не больше. Сначала она идет вдоль озера до церковки, похожей на часовню, а на пригорке, где она стоит, — раскинулся сельский могильник, наполовину одичавший и живописный в своей забытости. Только несколько недавних могил оживляют полянку... Направо и налево — просторы полей с неровными гребешками лесов вдаль. С горы открываются необъятные дали, поросшие молодой тайгой. Внизу, по замерзшему озерку идут крепко сколоченные санки, лошадка упруго перебирает мохнатыми ногами — издали темнеет тонкая дуга. Развилка дороги с правого пути ведет в Усть-Вихорево. По нему уже больше часа идет молодой парень в тулупе и ушанке. Это — Федор Укоров несет в село посылку. Ужо четвертый посылочный ящик приходит на имя батюшки! Всего восемь кило, а как трудно! До сих пор еще ноги не свои после лагеря и годовой отсидки — ходить еще тяжело... А работать надо, и всюду поспеть: он и дровокол, и зерном ведает в колхозе, и почтальонит подчас. Он остановился, поправил веревки и вскинул посылку повыше на плечи.

— Батюшка Павел, страдалец ты мой, — вслух обратился он в сторону неба и тайги, — жадный я стал, сознаю, но не для других, а для тебя я жаден. Мне-то что? В колхозе я сыт, одним молоком

зальюсь, а Татьяна — увидит посылку и снова тебя крупной и сахаром оберет... да за это на обмен какого ни на есть несъедобного студня, а своего, хорошего — не увидишь, как своих ушей.

Спохватился, остановил шаг, снова поправил ящик за плечами.

— Господи, Боже ты мой! Что за мысли такие... Сгинь, пропади... Его, а не мое дело делиться посылками! Не мое дело — судить Татьяну!

До Вихорева лежал еще один небольшой лесок с проторенной тропинкой. Федор то и дело останавливался, не то отдыхая, не то любуясь. Оснеженные сосны и ели обступали его. Вокруг притаенно дышала сказочная тишина, великолепие седого мороза. Из-за кустов вылетел заяц и, отчаянно сверкая белыми лапами, промчался мимо него. Гигантскими грибами стояли пни с нахлобученными комьями снега в виде шапок. Тонкие ветви черемушника и диких ягод сплетали вокруг них серебряное кружево. В путнике заискрилась какая-то светлая радость. Он знал ее в своем отроческом возрасте, когда не было еще ни пороков, ни ошибок, и он еще не выходил из круга общей жизни. Теперь, в сибирском лесу, снова посетила его налетная гостья, но в ее ощущении был новый смысл и новое желание — поделиться ее возвращением в жизнь с тем, кто терпеливо ждал его прихода на широком хозяйском ложе, с тем, с кем он дружно прошел конец этапного пути и кому открыл всю жизнь и ошибки, приведшие его сюда, доверяясь по-сыновнему, как родное дитя — отцу. Эти мысли и настроения всецело победили в нем предыдущую неприязнь и досаду на Татьяну, и Федор бодрым шагом поспешил домой.

В дверях залилась пронзительным лаем хозяйская Жучка, грозно откликнулся и завыл на входившего цепной пес со двора. Федор погладил собачонку, узнавшую его, снял в сенях валенки, поколотил снег прутиком и, оставив их здесь для просушки, обулся в дырявые тапки и поднялся наверх с посылкой.

Отец Павел спал, но тотчас же услышал Федора, очнулся и открыл глаза, полузавешанные тяжелыми веками.

С первого взгляда на него можно было подумать — умер? Умирает? Лиловатый цвет носа, ушей, губ, во всяком случае говорил о близкой развязке. Но когда он, проснувшись и войдя в себя, разговаривал с людьми, его острые, всегда внимательные глаза, отражали в себе то живое начало, с каким не сочеталось понятие — «скорая смерть». Лежал он и на большой цветастой подушке, отданной ему хозяевами, и на своей тоненькой из Ленинграда — она

выручала его придачей возвышенного положения. Тулуп «рыжая овчинка» отслужив ему то подушкой, то седлом, то покрывалом у костров во время последнего пути, удобно свернутый валиком, теперь поднимал ему ноги.

— Замерз? Устал? — ласково обернулся он к Федору. Тот поставил посылку на табурет и бережно поправил на больном тяжелое лоскутное одеяло.

— Ничто мне... — не сразу ответил он. — Ну и леса! Не насмотреться на них! Ну и красота! Батюшка, мой дорогой! У нас на родине такого нет. Как в театрах на представлении... А зайцев, лисиц — счету нет. К весне поправляйся, вместе в лес пойдем. Ну и тайга!

Чуть отсветилась на лице батюшки ответная улыбка — добрая, хитроватая, жалостная.

— Пойдем, Федя, пойдем. А пока открой-ка ящичек. Что нам шлют с тобой из Ленинграда?

Естественный интерес к содержимому посылки притуплялся, а у Федора даже заменялся досадливым чувством. При виде принесенного ящика уже не уходила из боковушки четырехлетняя Нонка, она так и липла к посылке. Сразу появлялась Татьяна или ее невестка, если была неподалеку. Стоило кому-нибудь встретить Федора с почтой — конечно, боковушку осаждали родичи Евграфа, предлагали сами открыть и вообще, пока все не выгружалось, не уходили никуда. Получение и обнаружение присланного перед людьми болезненно огорчало Федора. Он знал, что по первому уговору все отдавалось в распоряжение Татьяны и ее мужа, а они платят за то полным содержанием своих жильцов: их кормили и поили за посылки, но ведь было условлено об общем столе! Однако вот уже около двух месяцев за этим общим столом не подавалось ни манной каши, ни компота, ни киселя, ни сладостей, ни белого печенья и сухарей, ничего из присланного. На стол ставили студни из свинины, овсяный кисель, картофельную запеканку, драчену, крутую пшеничную кашу с кусочками жареной баранины, или подавался жирный борщ, или, если доходил до села омулевый бочонок, то омулек с соленым огурцом, очевидно, так приняли уговор — как обмен? Жгучие, досадливые, да и просто гневные помыслы обуревали Федора. «Жадные, скупые, Истинный Бог — кулаки! — мучился он. — Дело было тогда, ясно, не мое, ихнее, а надо бы мне вступиться. Дорогой его уберегал, здесь не уберег. Как малое дитя все отдал, уступил свое, а сам ни до чего не коснулся,

голодает, разве овсяного киселя с молоком, а то ни до чего не дотронется, а мне-то казалось — в рай попали». И парень не вытерпел, все свои мысли открыл батюшке, но отец Павел строго запретил ему вмешиваться во все подобное.

— Много ли мне надо? Овсянку дают, молочко, и хватит... То ли мы получали «там»? Молчи, Федя, образуется, — строго, но примиряюще подбодрил он его. И образумилось! Не прошло и трех дней с получения последней посылки, как случилось так, что сам хозяин Евграф стал обедать в боковушке с отцом Павлом и Татьяной — обыкновенно он запаздывал и ел внизу. Подали крутую кашу, борщ, драчену. Отец Павел ничего не брал, и, наконец, извиняясь, признался, что никак теперь не может есть ничего жирного и крутого — никак.

Татьяна насторожилась, муж искоса взглянул на нее и велел сейчас же сварить батюшке жиденькой манной каши на молоке и чего там еще есть. Евграф в домашнее хозяйство не входил, не уточнял общего обеденного пайка, за посылками не следил, а жена, получив из рук отца Павла мешочки и картузики с крупой, черносливом, сахаром, вермишелью, конфетами, — все относила в свой чулан и, не отдавая их на общее пользование, хранила их до времени, подобно многим скардным крестьянкам. Она даже не думала: хорошо, плохо ли поступает? Отказывается от еды ее жилец — значит болен, а у больных аппетита нет, а все то, что подавалось ею на стол было для здорового вкусно, сытно и питательно, и она по-своему честно размещала своей едой посылочное содержание, но больной батюшка ел все меньше и меньше... разве что просил немного молочного...

— Что же ты, парень, ничего нам не скажешь, а молчишь?! — вскинулась, как на виноватого, на Федора Татьяна. — Ужо я ему манной каши, компотика сварю. Так же нельзя — человек не ест, а ты молчишь... — При этом она зорко взглядывала на мужа. «Попадет мне теперь! — стучало в голове. — Ох, лихо мое, попадет!»

К вечеру Федор расхрабрился. Уж теперь он не будет виноват, если окончит разговор, начатый за столом. И когда вечером он остался внизу наедине с Татьяной, он не выдержал, тем более, что Татьяна, облизывая ложку, похваливала кашу.

— Вот этакую-то кашу ему и вари, — попросту начал он. — В тюрьме голодал, теперь не приходится. На общем пайке мы живо его уморим. Он — видишь, какой. Разве скажет? А много ли ему надо? Ложки три съест и все. Все равно ведь вам все останется, если что, а нашего ему не надо никак.

— Так ты давно бы нам пояснил, родненький, — смиренно запела Татьяна. — Мы-то с самим полагали — ваше на наше — и сквитаемся... Вот дело какое! Не ест! Завтра ему снова кашки белянкой иль геркулесовой сварю.

— И не крутую, — уже смело, по-хозяйски, распоряжался Федор, чувствуя, что, по словам батюшки, «все образуется», — жиденькую, на молоке. А то густо сваришь, ложка, что в известке стоит, не падает — ему на вред, на болезнь.

В тот день, поздно вечером, Евграф, задумчивый и хмурый, вернулся с работы. Домой он приходил усталый, за домашними делами ему следить было некогда, он вел подсчет зерна у председателя, завоевывая по-прежнему видное и значимое положение. Он долго сидел разутый на лавке, слушал обычные слова Татьяны насчет общего стола и плохого аппетита. Потом сам прошел в чулан и все в нем осмотрел перед сном, все так же хмуро поднялся в боковушку. За дверью слышались слова вечерних молитв. Федор читал их по канонику, в тонкой полудремоте слушал их отец Павел, четырехлетняя Нонка, дочь Евграфовой невестки, раскинув по сторонам кулачки, спала на подстилке у стенки. Евграф благочинно стал в угол. Потом Федор подошел к кровати.

— Евграф Захарыч к тебе пришел, батюшка.

— А, Евграф Захарович? — обернулся отец Павел. — Давно вы к нам вечерком не заходили... Дай табурет, Федя.

Но с хозяином случилось что-то необычное. Он опустился на колени и уткнулся в складки подзорника. Голова его тряслась от рыданий.

— Что случилось? Федя, выйди, — приказал больной. — Что с вами, Евграф Захарыч? О чем вы?

— Окаянный я! — вылетало слово за словом. — Грешен я перед Богом и тобой, родитель мой! Польстились мы на твое, на законное. На хлеб твой насущный. А он-то, хлебушко, лежит в чулане, гниет. А ты не ешь... Жадность наша. И вправду — кулак. Только теперь понял, что кулак... Ох, батюшка ты мой! Душу хотел через тебя спасти, а вот — как тебе мы служим. Все отобрали нужное, суем тебе ненужное! Стыд какой! Грех ко греху... Родимый! Замучился я! Сними с меня камень. Ужо все тебе открою. Бери у нас все обратно... Сыты мы все, сыты до отвалу. Желанный наш. Ешь-ко ты свое и наше, только живи!

Вместе с ним плакал и утешал его отец Павел. Он успокаивал его тем, что ни разу не подумал упрекнуть, что между ними счетов

не должно быть, сам извинялся, что так вышло с его болезнью насчет общего стола... Одним словом, так повел речь, что неизвестно, кто больше виноват — а, наверное, уж он грешнее всех остальных. Но Евграф все выплакивал свое, шептал что-то затаенное, выносил наружу все давнее, тяжко давившее в груди, твердил: «Отпусти, отпусти», — и ничего с ним нельзя было поделаться... Вошедшему Федору велено было достать из чемодана бережно завернутую в широкое полотенце епитрахиль, полученную им с первой посылкой из дома...

Последнее письмо

Так шли морозные, похожие один на другой дни. О том, что Аля уехала обратно к больной матери, отец Павел давно знал из ее письма, полученного им в ноябре, после праздников. Из торопливых, полубезумных строк он сразу видел, что творилось в ее душе, и прикоснулся губами к кляксам-слезам, горячо молясь о девочке с горячим сердцем. Теперь она была дома. Большая забота и недоумение при мыслях о ее приезде сразу покинули его, и он невольно прошептал слова любимой молитвы «Ныне отпускаеши». Теперь ему оставалось молиться, терпеть недуги и ждать — чего? весенних дней? Но ступни ног, нагруженные отеками, гудели и не давали покоя по ночам. Травки, принесенные фельдшером, помогали мало. Силы убывали очевидно и ощутимо. В первые дни пребывания в селе он еще вставал довольно свободно и, с помощью Федора с одной стороны, и палки — с другой, то выходил в чулан и сени, то спускался в нижнюю избу к хозяевам, чтоб самую чуточку посидеть, поговорить и обрадовать их своим приходом. Иной раз выводил его Федор на дворик за домом, где стояли у Евграфа штабели сосновых дров, сложенные ровной клеткой, оснеженные сверху, вкусно и остро пахнувшие смолой. На дворике-палисадничке имелись и скамеечка со спинкой и столик — пить чай в летнее время. Остаток Евграфова леса дремотно шелестел, ссыпая вниз снежок. Долго сидеть на морозе не приходилось; полюбовавшись на небо, на тайгу, синевшую вдаль, отец Павел снова уходил к себе наверх. «Побывал я в своем затворе! — улыбаясь говорил он Федору. — Се покой мой, здесь вселюся на веки». Эти слова написал он в первой открытке Алечке в Иркутск. Письма от жены из Ленинграда шли исправно, всегда добрые, дружеские, деловито спрашивающие, в чем он нуждается. Они были насыщены школьными событиями и поклонами друзей. Дру-

гие — причудливые, несобранные, всегда сердечные — от Арсения, и наконец — от сестры Маши и от Али. Мария Петровна отболела тяжелым тифом и теперь поправлялась. Аля работала в аптеке, думала о вузе, по-прежнему вела дневник. Он с трудом, но всем отвечал хоть по страничке, писал успокоительно о здоровье, что ему хорошо, что его окружают сердечные и заботливые люди, а свою Нину просил думать больше о себе, не беспокоиться о нем, все упование, по-прежнему, как в детстве, возложить на Бога, неизменно подписываясь в конце письма: «Твой недостойный молитвенник Павел». В конце января Аля получила от него ответ на свое письмо и тревожно задумалась над несколькими строками. «Что бы это могло с ним быть?» — соображала она. Он писал так:

«Здоровье мое в основном хорошо, но я сильно переутомился, устал, меня одолела временная неврастения и сильная слабость, я понял, что мне не могут помочь внешние средства, — я стараюсь подолгу лежать и молчать, если возможно — в уединении. Читаю, размышляю и вообще предаюсь духовным упражнениям, и бывает легче. Я стараюсь молиться, но как опять учат нас святые отцы — наставники, стараюсь молиться с верой, терпением и кротостью, все вверяю Всемогущему Богу — Господь и Его великий угодник, Святитель Николай, как должно коснутся наших сердец...»

В конце письма стояло:

«Шлю тебе свое смиренное духовническое благословение. Мое сердечное почтение и благодарность за оказанные услуги передавай Елизавете Павловне. Она за меня приняла беспокойство и труды. Еще раз да благословит тебя Господь.

Преданный, смиренный Павел А.»

Письмо не утешило, как предыдущее, но взволновало и озадачило. Больше того, оно вонзило острую, как стрела, мысль: «Последнее письмо, больше от него писем не будет». Что это за временная неврастения, с которой он боролся не внешними средствами? Слова об усталости и переутомлении, конечно, относятся не к вихоревскому периоду жизни. Он устал тогда, «там», а здесь что-то произошло... Большого Аля представить себе не могла. То, что ей предстояло, что лежало на ее пути от настоящего часа до конца жизни — это молитва за него, притом не такая, как у нее была в Иркутске, а указываемая им — с верой, терпением и кротостью.

Письмо это о неврастении и усталости отец Павел писал Алечке с величайшим трудом, входя в новый период своей скитальческой жизни. Пережив тяжелый сердечный припадок в конце января, он

решил замаскировать его перед родными смутными и неточными определениями. После приступа он окончательно слег. Каких-нибудь тяжелых потрясений или переживаний за последнее время поселенчества нельзя было и допустить, дни текли спокойно, словно в недалеком прошлом и не было бури.

С приездом в село наступила статика жизни, и моряк-скиталец вошел в спокойную гавань. Его окружили забота и внимание простых, искренних и сердечных людей. Федор стал его верным духовным сыном. Он любил каждый вздох и взгляд батюшки. Вихоревские сибирячки с вековечным приветом «родимый, желанный ты наш!» при каждом удобном случае проникали к отцу Павлу и совали ему или Татьяне то парочку соленых огурцов, то капустки, то творожку из печки. Сибирь скуповата в мужьях, но жены превозмогали все и делились, чем могли.

Приступ

Перед началом приступа, что случился в канун Татьянинных именин, у отца Павла сидел гостем Евграф. Теперь он часто сюда заглядывал и рассказывал о молодости, о Байкале, о золотых приисках и о многом таком, о чем люди сознательные и кающиеся открывают только духовным людям. Батюшка слушал его; уставая, засыпал от полутьмы, монотонного голоса и слабости. Иной раз он забывался и произносил во сне какие-то слова. Евграф вышел, стараясь не стучать сапогами, но отец Павел все же проснулся.

— Вы уже уходите, Евграф Захарыч? Извините, я задремал и нарушил ваш рассказ, — смущенно оправдывался он.

А в Татьянин день наверху не было никого — ни Евграфа, ни Федора, ни тем более именинницы. Она вздвухала для гостей самовар, хозяин ушел по делам. Федор колол дрова у ближних соседей. Отец Павел лежал один. Это правда, что началось как будто со скуки, не то от закрытых ставен, не то от мыслей, соскочивших с молитвенных рельс. Тяжелая приземистая тоска-скучища вроде старухи-вековухи вошла, вползла в него, наступила на грудь и первым делом сдавила ему челюсти. Что за страшная боль за ушами, от нее нельзя было ни раскрыть рта, ни позвать людей... Но кого? Все были внизу, хлопали двери — это гости. Он было простонал, но не мог: кто-то болевой и удушающей хваткой держал его за шею, давя на уши, но понемногу спуская пониже и пониже костистые пальцы, наполнил болью и смертным страхом верхние ребра, весь

вдох. Рука соскользнула пониже, теперь вся мука шла не то от подреберья, не то от локтей, опоясанных браслетами из чугуна. Слева, отодвигаясь к области желудка, и направо — по ходу нижних ребер, шла невыносимая эта жуть, не позволяя ему ни вспомнить, ни позвать на помощь Святое Имя. Приступ нес боль и смерть. Но он все же вспомнил и произнес, не голосом, не вздохом — они были во власти чугунной руки, но каким-то сознанием помимо всякой телесной возможности, как бы вне его существа летящего, он, не могущий вздохнуть и выдохнуть, неизреченной силой — выплакнул Святое Имя...

Послышались шаги Федора. Он входил в комнату с куском пирога от Татьяны. С кровати пронесся слабый стон... Через минуту дом был на ногах. Татьяна спешно раздувала второй самовар с мыслью — кипятик так или эдак пригодится, гости ее давали всякие советы, не лишённые смысла, но трудно исполнимые в спешке, а бывший в гостях поселенец-фельдшер, кинув на лету распоряжение «согреть ему ноги», помчался за санитарной сумкой в правленческую избу. Он не то что надеялся помочь больному ее содержимым, но считал неудобным явиться без мешка с облупленным красным крестом на вызов. В сумке, давно опустошенной и никем не наполняемой, имелись ножницы, два запыленных бинта, клочок ваты, две ампулы камфоры, с давних времен не кипячений шприц с толстой иглой, пузырек с высохшим йодом и каким-то чудом уцелевшие капли от живота. На их эффект, как содержащих валерианку и опий, и рассчитывал Василиск, стрелой бегущий к Евграфу. Бесправный медработник был по природе отзвучив, но, кроме того, как опытный боевой конь — сразу бежал на случай, хотя бы с самыми ничтожными средствами, соображая, что же такое ему сказать, чтобы утешить больного и самому не оплошать знаниями в обществе. Ходили слухи, что его восстановят в правах и дадут поработать здесь последние годы по специальности — иначе все забудется, что учил, а учил давно, и все приходит новое и новое! Вот, например, сердце — все шло ничего-ничего и вдруг что-то стряслось. Ну чем он, Василиск, может помочь? К ногам тепло и капли от живота, а дальше? С такими мыслями, запыхавшись, он предстал у кровати, спуская с плеч ремень сумки; из нее торчал подковой слежавшийся покоробленный жгут и две шинки. Больному было трудно говорить — пропал голос. Капли обильного пота стекали на лоб; фельдшер подсчитал пульс... Боли понемногу оставили отца Павла, они, уже рассеянные и

нестрашные, затихали в спине, под лопаткой; он улыбаясь смотрел на молодого человека и на руку, сжавшую его запястье. После расспросов о том, что случилось, Василиск счел уместным глубоко вздохнуть и заявить пациенту:

— Пульс у вас — «целер» (*«celer»* — лат., быстрый).

— Это что-нибудь опасное? — шепотом, но уже с живым интересом спросил батюшка.

— Н-нет, ну как вам объяснить? Бывает при таком случае — внутри сосуда разомкнется и все в порядке. — Он снова проверил пульс и восхищенно заявил: — Вот видите, я прав. Выравнивается... Уже не «целер». Осталось, как бы сказать, небольшая «целеристость». Чайку бы вам сейчас — вот хорошо. Все, что может согреть. Ага! Утюг у ногам — прекрасно. Не обожгите, Татьяна Федоровна. Вот еще вам капельки, немного горькие, там наркотик и всякая трын-трава...

Он отсчитал в чашку двадцать капель желудочных. Отец Павел послушно проглотил полынную горечь.

«Надо бы сейчас, — подумал фельдшер, — еще укол, да кто его знает, что за шприц? Хороший-то, новый «Рекорд» председатель у себя держит, выписал из Братска. А с этим уродом возиться, кипятить, да и разнимается ли? Надо им заняться как следует».

Он стал прощаться с отцом Павлом, советуя ему заснуть, а пищу завтра самую легкую.

— Что вы, что вы, Укоров! — отстранил он руку Федора, совавшего в карман шоколадку «Золотой якорь». — Я не возьму, это простая человеческая обязанность.

Но все же Федор запихнул ее поглубже и придержал с силой карман.

Отцу Павлу становилось все легче. Он пожал руку фельдшера и прошептал на прощание:

— Вы совсем не тот «Василиск», на которого надо наступать...

Но фельдшер его не понял и вломился в амбицию:

— Наступать на себя, — сказал он, — я вообще никому не позволю. — И ушел, унося сумку, полный сознания своего достоинства и исполненного долга.

«Паче всего — люби Бога...»

С той памятной ночи Федор старался как можно реже покидать своего батюшку, но это ему трудно доставалось — то он разносил

почту, то уходил на сдельщину, то в ближайшем лесу началась валка сосны и выкорчевка, а затем пила и колка дров. Без слов и жалоб, даже самых малейших сетований, лежал, уже не вставая, отец Павел. Болевые приступы повторялись что ни день, не сильные, терпимые, минутного напряжения, но он слабел. С бьющимся сердцем, тревожный и смущенный, приходил домой Федор, присаживался рядом, брал руку и прижимался к ней губами. Как жадно ему хотелось отогреть холодные пальцы, согнать с них синеву! В один из дней начала февраля, когда Федор на минутку прибежал от соседа, где колол дрова, и как всегда приник к постели отца Павла, тот отнял у него свою руку и положил ее ему на голову...

— Паче всего — люби Бога, Федор. А человек? Что человек, хоть и самый близкий. Трава! Сено! Скосят его — и нет... Ушел — и все — и нет его.

— Ты это про кого — ушел и все? — встрепенулся Федор, поднимая голову.

Рука пастыря тихонько соскользнула на подушку.

— Про кого? Да хотя бы про себя... Воюй, воюй, Стратилат-Федюша! Как мы с тобой ни стараемся, а расставаться придется...

— Не пушу! — Что-то горячим ключом закипело в груди и горле юноши. Он обеими руками схватил плечи отца Павла и сжал их так, что тот невольно поморщился.

— Не пушу! — твердил Федор со слезами. — Сказал, что не пушу, и кончено...

Взволнованный таким неожиданным неистовством, батюшка едва мог освободить руку и гладил его по голове.

— Ну что я без тебя? — бормотал Федор. — Отдать душу, человеком стать — и снова один? У чужих? За то, что прежде бывало — не примусь, а как жить, да без отца, в такой дали, в тайгище — не пойму.

— И понимать тебе нечего. Все ясно. Твой срок небольшой. Только надо все по-новому, по-честному. Люди хорошие везде есть. Тот же Евграф, он тебя куда на сторону не пустит...

— Евграф? — переспросил Федор. — Да он — волк. Волком смотрит.

— Не волк, он, Федя. Увидишь, что не волк. Я на него оставляю тебя спокойной. Да и мы-то с тобой разве не будем вместе? Будем. По-прежнему. Только видеться нельзя друг с другом, трогать, вот так душить меня до полусмерти, как сейчас... Ведь чуть не задавил... Она меня душит, и ты тоже, вот каков у меня сыночек.

— Кто это — она? — насторожился Федор.

— Кто? Да моя болезнь... Успокойся, родной мой. Нельзя так. А знаешь-ли, мне что-то получше сегодня... Солнышко во дворе, право, полегче.

Робкая надежда блеснула в сознании юноши.

— Может быть, «она» пройдет у тебя?

— Все в Божией власти, Федя. Может быть, и пройдет... — Серdito стучал в дверь Евграфа.

— Что же ты зашабашил на сегодня, Федька? У Чечулиных дров до неба, а он в хате! Айда колоть, до обеда далеко, лодырей тут не треба!

— Это я виноват, Евграф Захарыч... Я его задержал, — слышался шепот с кровати.

Хозяин сразу сменил гнев на милость. Суровое лицо осветилось улыбкой.

— Получше-ли тебе, хоть маленько, батюшка? — и он подошел к больному. — Ты вот горловину застудил, все шепчешься. Уж я накажу Татьяне горчицу растереть, да к шее, а за обедом — калгану рюмку. Важно! Мигом оздоровеешь.

Все та же улыбка в ответ. Так улыбаются детям, когда их побаловать надо и скрыть от них что-то!

«Вы-то ничего про меня не знаете, а я знаю...» — шептала эта улыбка в ответ на все слова и вопросы и на заботы Евграфа. Отец Павел светло глядел на своего хозяина и благословил Федора, когда тот, уходя, подошел к нему.

В отсутствие Федора и Евграфа, место у постели больного занимала Татьяна, так как хозяин и поселенец работали до вечера. Татьяна садилась в боковушке с пряжей или вязала носки, но как только отец Павел открывал глаза, заводила всякие рассказы, не то с целью развлечь, не то самой освободиться от постоянного пребывания с молчаливым мужем. Суеверные понятия мешались с религией. Тут вспоминались и случаи с проклятием детей: их находили в виде оборотней в тайге, на болотах, иной раз матери удавалось перекрестить и вновь усвоить такого ребенка и даже привести его домой. Здесь тайлось вековечное суеверие полуязыческого типа, не побежденное ни строем, ни религиозным началом, слабо привитым с детства. Читала Татьяна хоть медленно, но не по складам и все пыталась познакомить батюшку со «Сном Богородицы». Но он просил ее об одном — Евангелие. Она читала однотонно-убаюкивающие указанные места и выступала со своими выводами.

— Истинно так, батюшка, мой свет! Придет Илья, должен придти. И всему тогда конец. Нонешнее лето все громыхал. Мы-то окажнные, воевали, середняки да кулаки, дрались между собой, что греха таить, а он-то, грозный, все гремит и гремит. О себе дает знать. Дескать, люди, не забывайтесь, я тут. Придет грозный день — жупел, все попалит. В Библиях показано! А вот у пророка Даниила... Дремлешь ли, кормилец?

Батюшка не отвечал ей. Он спал...

Пустыня желанная

Дни, как на подбор, выпадали тихие, безветренные, морозные. За неделю до Сретенья повеяло будто на оттепель, но к ночи снова сковало на двадцать градусов с лишком. Сретенский праздник был не так давно престольным и в Вихореве. И по сей час прежние богомольные хозяйки пекли пироги, угощаясь ими накануне, как и раньше, если «престол» не приходился в воскресенье, так как в будни все шли на работу. Числа десятого февраля отцу Павлу принесли письмо от жены.

«Дорогой мой, — писала она ему, — беспокоюсь о тебе, все ли у тебя есть? Пиши мне все, все твои просьбы и желания. Я твердо надеюсь на летние каникулы. Уж теперь весна не за горами, приеду к тебе... жди, увидимся».

Ходики простучали полдень. Письмо прочтено, спрятано под подушку... Оконная рама солнечным, крестовидным отпечатком легла на дверь. Ничто пока не теснило освобожденного вздоха. Болезнь дала отдых в два с половиной дня, вот он спустил с кровати одну за другой ноги, и потихоньку, опасаясь много шевелиться, начал одеваться, и когда вошел Федор — батюшка сидел на кровати, как здоровый, протягивая ему обе руки.

— Федюша, помоги встать! Где мой подрясник, тулуп? — все тем же шепотом, но бодрым, каким-то усиленным, вот-вот перейдет в голос — распоряжался отец Павел и на недоумение, испуг и протесты Федора все усиливал свое рвение скорее одеться и выйти на солнышко, в свой любимый закуток, на Евграфов дворик, прозванный им «затвором» или «пустынькой». Напрасно уговаривал и перечил ему Федор! Всегда покорный и подчинявшийся ему в деле болезни, батюшка стал неузнаваем. Он торопился с валенками, свои не налезали ему на ноги, пришлось надеть Евграфовы громадные, потрескавшиеся, да еще с крагами, засунутые на

русскую печь — они служили хозяину для леса и пока что отдыхали, поджариваясь в тепле, а на работу он ходил в других, более низких и легких.

— Крест! — все тем же напряженным шепотом попросил отец Павел. Достали его из-под подушки, где он лежал, завернутый в епитрахиль. — Теперь все готово к прогулке.

— Напрасно ты, отец родной! — снова заговорил было Федор, — как я тебя по лесенке стащу, такого слабого? Татьяна Федоровна, помоги-ка нам! — крикнул он сверху.

— Ой ли? — послышалось внизу. И Татьяна пришла на помощь.

Отец Павел обхватил рукою шею Федора, Татьяна поддерживала сзади, и лесенка благополучно миновалась. Внизу Татьяна переняла батюшку на свои руки, пока Федор открывал тугую дверь на дворик, все еще ворча:

— Как-то назад доберемся? Сойти-то легче, а вверх?

Но отец Павел был далеко от всего. «Солнышко! — шептал он. — Всякое дыхание... Воздух-то, воздух! Пустыня моя желанная!»

Первым сел Федор и, отклоняясь назад к стенке деревянной скамьи, принял на свою грудь всю тяжесть батюшкиного тела. Зеркально чистый, насыщенный хвоей морозный воздух проникал до утробы. В просветах лиственницы и еловых веток алмазами сверкали пелены полей. Глаза до боли слепил полуденный диск солнца. Отец Павел, как на доске, лежал на груди Федора, положив голову на его правое плечо, немного сдавливал шею, опустив руки вровень с его руками. Тихий воздух, недосыпаемые ночью часы сразу убаюкали Федора. Он забылся, задремал молодым, свежим сном, и даже веточка с мелкой шишкой, упавшая сверху, не потревожила его, и когда над ним раздался знакомый шепот и стон, он на него не откликнулся. Отец Павел простонал еще раз, другой, и только тогда пришел в себя Федор.

— Подними меня... скорее... Федя! Опять как тогда... конец... всё...

Он, весь отяжелев, лежал на груди Федора, тот с трудом поднял свою ношу, уместил большого на скамейке, сбросил с себя овчину, подложил ему под голову и бросился в избу. Вскоре прибежали люди, соседи Евграфа, Татьяна, общими усилиями внесли, втащили отца Павла наверх, послали за Василиском, нагрели воды. Фельдшер прибежал сегодня во всеоружии. Он достал у председателя новый шприц, сразу сделал укол. Отец Павел понемногу освобождался от болевого удушья, лицо его слегка окрасилось цветом жизни, снова пробе-

гали под лопаткой слабые воспоминания болей, появился обильный пот на лбу и шее. Сжимая влажными пальцами руку Федора, он все время что-то шептал. Татьяна и Федор наклонились послушать.

— Зачем было меня будить? — шептали бледные губы. — Опять мученье? Снова? Я так хорошо уходил... Помешали...

— Кто тебя будил, кто мешал, родной? — заволновался Федор, то растирая ему руку, то пряча ее под одеяло.

— Помешали, — чуть слышно твердил отец Павел. — Там, где солнце... С той стороны... Розовое небо... Розовый цвет... Да, да... Я видел... А вы меня потащили... Закричали, и всё спряталось... Не мешайте больше — было так, так хорошо... розовый... все небо! Истинно — видел...

Уходя, фельдшер объяснил собравшимся:

— Перед концом, знаете, бывает у них... Такие желания, как у него — «в садик, на воздух». А что в садике? Кислород с озоном, и еще там что-то третье... Сосуды сжались — вот и произошло... Надо дать полный покой... и пульс у него даже не «целер», а как ниточка. Да... для него конец — самое лучшее дело... Отщепенец общества, что там говорить! Мое почтение, Евграф Захарыч! Рад служить больному! Если что надо — зовите, я мигом.

Перегибы, перегибы...

Наступили дремотные часы. Уже давно закрыли ставни. Пришел вечер, а отец Павел спал. Стараясь не стучать, не скрипнуть половицей, заходила то Татьяна, то ее невестка, взглянуть на болящего и, выходя, сообщали кому-то: «Спит». В нижней хозяйской избе было душно и накурено, ради хлебов поздно топили печь — с утра Татьяна не управилась. За чаем сидели недавно пришедший Евграф и его дочь, молодуха Зина с четырехлетней Нонкой. Девчонка от природы была дика и стеснялась всех, пряталась в складках материнского платья, и чуть только с ней заговаривали или начинали шутить — зажмуривала свои небесного цвета глаза: тогда она считала, что ее никто не видит.

— А вот я тебя все равно вижу, ам! И съем! — пошутил дед. Розовое лицо мигом отвернулось, и Нонка вся исчезла в широких оборках Зининой юбки.

Зашли к Захаровым и соседи-колхозники, забежал вечером и Василиск узнать о своем пациенте.

— Наше тебе почтение, медицина! — сказал Евграф. — Садись с нами чай гонять. Написано «Индийский первый сорт», а Индии никогда не видал.

Василиск Петрович любил бывать у людей. Во-первых, он рассуждал так — всего услышишь, кое-чего узнаешь, а жизнь здесь — дыра. Во-вторых, сам себя покажешь — и образование и политика. И медициной можно шегольнуть: тебя о чем спросят — ты ответишь — вот и вышел санпросвет. А может быть, и разрешат здесь поработать законным путем последние годы срока, так как эти самые беседы можно задним числом проставить на отчетности, и он их честно запишет, без всякого вранья, так сказать — не с потолка. Столько-то бесед-лекций, столько-то вопросов-ответов, предложений... И он, в мечтах о будущем, помешивал чай. За столом касались дел текущего, уже 1932 года, прямого и сложного подхода к сбору кооперативных паев и взносов. Евграф волновался, свирепел.

— Скажем, я им в своем взносе не откажу, внесу сколько надобно, а они мне сухой тресковины да чуток леденцов, да карих глазок, с которых пыль сыплется, на кой они мне? И за что эдаки пай? За мои кровные, за мои пречистые?... За мои в поте лица...

— Ну, положим, что твой пот лица,— перебил его сосед, — маленько ты того... Евграф Захарыч, заливаешь... Все знают, откуда нажито, неужто пожилые не помнят, что ты в молодые годки за желтым песочком ходил...

— И ходил, точно! — не унимался Евграф. — А в комодах да сундуках ты рылся? Доподлинно ли тебе известно, привез я песок? Может другой человек тогда был? А нонечь новый? Ту власть тогда признавал, а теперь ее убил?

— Хамелеон что ли вы, Евграф Захарыч, — чуть насмешливо улыбнулся шурин.

— Пушай и хамелеон, а уж раз повернулся ветром в сю сторону, так и стою в сей стороне. Много у вас воображения! Бурый ты медведь с тайги. Тоже — упрекатели! Пот лица ему мой не задравился! А коль хочешь знать, пот лица и тогда с песком был нужен, и нонечь, при трудах еще как необходим... Легко ли добывать хлеб народу?! А?

Все замолчали, допивая чай... Разговор пресекся сразу, к чести Евграфа было — хоть высказаться, но не подлив масла в огонь, затушить ссору. Но и шурина, и соседу, и хозяину стало как-то не по душе. Один фельдшер благодушествовал, пытаясь переменить тему разговора.

— Перегибы наши, перегибы! — возмущался он. — Я, конечно, не прежний кавалер, но уж всецело против таких эксцессов, как например, у вас в доме. Вспоминаю с ужасом, Татьяна Федоровна, ваше рукобитие с дугой и кочергой. Помыслить не могу! Где просвещение? Тьма из «Грозы» Островского! Первым делом окультурить население, провести инструктаж... Всюду было оповещено, плакаты, молодняк прибыл. А где проведено? Комсомол — и сразу драться! Для того ли его прислали по нашим гробовым тропинкам из Братска? Человек с понятием — он сам придет и отдаст свое. Возьмите, скажет, из моего, что вам надобно на пользу народа и родины.

— А у Феофанихи что было! — даже с какой-то дикой радостью перебил его шурин Евграф. — Старуха одна сидела в избе, а в окошко кричат: «Выметайся, карга, старый элемент, даешь избу под ясли!» Пятеро: два дюжих колхозника, трое комсомольцев на подмогу — Феофаниха чуть ума не решилась! Хорошо, что Пелагея подоспела, у нее нрав-то отцовский, впрямь покойник Феофан! Два горшка глиняных разбила, да осколки в них бросать, да с кулаками.

— Я их всех потом перевязывал, пять лицевых перевязок, — не мог не упомянуть о себе Василиск.

— А все же пол-избы у них отняли? — поинтересовался сосед.

— Не без того... А в братской газете писали: «Коллективизация прошла благополучно. Отдавали с радостью. Все — как один!» Тишь да гладь! Тошно слушать!

С этими словами Евграф поднялся с места.

— Пойти наверх, взглянуть... Что там, дышит ли?

За столом наступило молчание.

Пастырская исповедь

Тяжело поднимался по лестнице Евграф. Не по себе ему стало. Ведь только недавно он, освобождаясь от многолетнего груза, всего себя выплакал у батюшкиного ложа, решил обуздать свои вспышки и порывы, — вдруг... Ну что дал ему спор с колхозниками? Не вышел ли он из тишины в земную бучу, да еще с припоминанием прошлых лет? А ведь тишина назревала в нем, родилось решение ее хранить, укрощая прежние вспышки. В таком смятении он вошел к батюшке. Отец Павел не спал, внимательно и остро взглянул на вошедшего. Голос к нему после припадка в садике не возвращался.

Он говорил шепотом, но вполне внятно, с примесью сиповатости, слышно и раздельно, при полном сознании.

— Вечер, ночь? Что-то путаю... — и он повернул лицо к Евграфу. — Вот что, Евграф Захарыч, послезавтра — Сретение Господне. Поговеть хочу. Сегодня, как придет Федор, так и почитаем, что положено... И ты со мной тоже. Завтра не уклоняйся... Не встать мне уж больше, а до праздника, я, даст Господь, доживу... Без поддержки не хочу тебя оставить... мы вместе... последний раз...

Не сразу ответил Евграф, что-то соображая.

— Божия воля, батюшка, родной... А только как же быть? Ведь давеча, когда я... Ты мне тогда все... как есть, все...

Он замялся. Отец Павел понял его.

— Есть у меня, есть еще они, Святые Дары! — радостная дрожь слышалась в его шепоте. — Федюшу я тоже, на днях... на днях...

Он задыхался часто и неровно. Евграф наклонился над ним, боясь припадка. Но больной откашлялся и продолжал:

— Чудом они у меня... По реке сюда ехали, встретился знакомый... Тоже священник, узнал меня и передал. Одному мне давал, а разве можно одному? На всех хватило.

Но Евграф еще больше смутился:

— Как же я у тебя — последнее, насущное! Еще, может быть, тебе ни раз, ни два...

— Мне? Мне уж, как сказано, не пить больше от плода виноградного... Слава Богу за все!

Решили — завтра, чуть свет Евграф придет наверх. Сегодня не могу, завтра покаюсь, объяснил он. За чаем сидели, болтали лишнее, ругались насчет тех же прав.

— А завтра, думаешь, лучше станет? — хитровато улыбался батюшка.

— Не лучше, отец, а все же ночка малость от грехов отодвинет, прости, Христа ради!

Наступил незабываемый вечер. Вся сущность Евграфа целиком растворилась и отошла от суеты и жизненных дрызг в тишине слабо освещенного мезонина, под чтение канонov и вечерних молитв. Их читал Федор невнятно, но ревностно, путаясь в славянских ударениях. Евграфу казалось, что он слышит ангела. Он стал на колени и, повторяя мытареву молитву, отрывисто клал земные поклоны.

— Молись за меня, родимец, — просил он батюшку, прощаясь с ним до утра. — Видит Бог, хотел бы я стать новым, что младенец, ан — старая шкура не дает, все на перегиб.

— Стать новым? — улыбнулся отец Павел. — Ты и есть новый, а на старую кожу не смотри, она до конца мешает. А ты иди, все иди — и придешь, только кайся...

Одышка мешала ему шептать.

— Вот что тебя прошу, Евграф Захарыч, не откажи. Федора-то моего не оставь. В тяжелом пути приобрел я сына. Родных детей не имел, а он сразу так в руки и дался. Не ленив, трудится, детская вера у него, простая, а присмотр и забота — нужны. Сам понимаешь, с какой жизни пришел. Теперь иди... Не бойся! Доживу до праздника, даст Бог!

Наступил канун Сретения. Чуть-чуть различались в комнате предметы, потрескивала догоравшая лампадка. Федор прибавил в нее масла, поправил фитиль и ушел, обещая заглянуть попозже днем. Хозяин с отцом Павлом остались одни. После исповеди, когда Евграф получил отпуст, встал с колен и приложился к Кресту и Евангелию, отец Павел попросил его сесть рядом с ним. Оба долго молчали. Евграф поставил поближе стакан с водой и готовился услышать причастную молитву, но вместо нее раздался внятный, строгий приказ:

— Теперь я буду каяться... Слушай меня... Принимай мои грехи, ради Христа Распятого.

— Батюшка! — со слезами умолял Евграф.— Ты у меня — что? В уме ли ты, родной? Ты мои грехи ноне ведаешь, а я разве могу? Смею ли? вспомни, свет мой ясный, что поведал я тебе? Чего ни творил? Пускай хоть тот же Федюха, он еще ребяченоч...

— Ты — мужчина, муж, — твердым шепотом, властным тоном, какой никто не предполагал у него, настаивал отец Павел. — Не отпусти меня так... минуты — и те сочтены... За послушание прими. Слушай! Молитву я прочитаю. А когда я кончу каяться — тебе не надо ничего сказать, кроме «Бог тебя простит — и сам меня, грешного, прости».

В сердечном трепете, в небывалом ужасе принимал Евграф тайну пастырской исповеди. То — казалось ему, пол неспокоен под его ногами, голова его склонялась почти до колен. Вначале он пытался было заткнуть пальцами уши — батюшка легонько прикоснулся к его руке, и он освободил уши, внимая словам, как бы издали доходившим до него. А отец Павел все шептал и шептал, облегчая не только себя, но и того, кто слушал его. Долго ли так длилось? Но то, что долгие годы камнем лежали на душе принявшего, то, что было уже сметено с его плеч первым раскаянием,

в эти минуты испускало последний вздох, облегчая его начисто, возвращая ему покой, сон, убивая старое прозвище — «волк».

Батюшка, наконец, замолчал. Молчал и Евграф, вытирая рукавом нос, глаза, щеки.

— Всё, кажется, всё, — шептал кающийся. — Теперь ты мне скажи, как я учил... Бог тебя простит — и ты меня прости...

И после его слов отец Павел сразу начал читать молитву перед Причастием.

«По глаголу Твоему...»

После тяжелого удушья во двореке сильные боли оставили батюшку. Посещали его коротенькие, мелкие, их можно было терпеть, не показывая виду. Нарастала тянущаяся часами сонная слабость, длившаяся до вечера тринадцатого февраля: тогда она его покинула на малое время, вернув ему несколько сил, чтобы в полном сознании приготовиться к тому, чего он долго ждал, и четырнадцатого февраля утром приобщился Святых Таин.

В десятом часу утра Татьяна принесла наверх молока и чаю — батюшка дремал. В двенадцатом часу на минуту забежал Федор, увидел его спящим и обрадовался: «Пусть спит, сном все пройдет! Иначе быть не может, болезнь с сегодняшнего дня пойдет на улучшение, после того что случилось во дворе — нет приступов!» С такими бодрыми мыслями он собрался уходить, но перед тем подошел к постели — и спящий на минутку открыл свои обесцвеченные глаза, взглянул на Федора и снова их сомкнул.

— Ты же помни, отец, обещал мне весной в тайгу! Я же вижу, что тебе лучше! — говорил юноша, и слова его падали в безответную тишину комнаты. — Со мной не спорь, сном все пройдет!

От двери он снова вернулся к постели — не уйти никак.

— Опять у тебя холодные руки, как из-под снега! Держи под одеялом, пока не согреются. Ну, я пошел...

По дороге он просил Татьяну, чтобы несла батюшке уют к ногам.

В четвертом часу Татьяна зашла проведать больного. Он спал. Лицо его хранило безмятежное выражение покоя. Она потрогала ноги — уют их не согревал: холодные до колен.

Темнело, наступал вечер — время начала всенощной службы, если бы маленькая церковь не была заперта.

Внизу Татьяна только что вытащила из печки праздничные пироги. Затем начала готовить батюшке ужин, мисочку с овсяным

киселем, молоко, кусок пирога, и окликнула входящего Федора, чтобы отнес наверх. Он еще застал тихие стоны, шевелящиеся губы и, наклонясь над батюшкой, успел поймать в последнем шепоте: «... по глаголу Твоему...» И замер весь, видя, что отец Павел мину-ту спустя, слегка вздрогнув, смотрит уже не на него и вообще ни на что, а как-то иначе, и его новый взгляд, останавливаясь на одной точке, проникает стену.

Печаль

Горе осиротевшего Федора было так велико, что хозяева долго не отходили от него. Как ни утешали, как ни уговаривал его Евграф, в первые часы все было тщетно.

— Он тебя, парень, шибко любил, а мы, Федя, сами тебя залюбили и живи у нас как сын, не уходи, слышь, никуда, — так подбодрял его и сам опечаленный Евграф. — Работай только честно, с вертушками не знайся, не треплись, как мельница по ветру. А зайдет скука, мы теперь одна семья, вот сынок придет — тебе товарищ. Скуку-то и по боку.

А Татьяна все вспоминала про амнистию, что если дело Федора, про которое он скрывал, снимут с политики, оставив один «культ», то его освободят совсем и пошлют учиться и работать в тот же Братск-Иркутск. Слышно, что и здесь скоро развернется большая стройка, произведут выкорчевку тайги, ее подвинут в сторону, прокопают широкие дороги, по Ангаре поставят «слюз», и путь в тележках-гробиках будет никому не нужен.

— Спасибо на добром слове... — отвечал Федор. — Не оставьте уж меня. Ведь я теперь совсем как есть — сирота. Ты мне помог, дядя Евграф, помоги вот в чем, — он улыбался, а в глазах стояли слезы. — На честного человека экзамены выдержать.

В тот же вечер, узнав о кончине отца Павла, полколхоза побывало у Захаровых. Батюшка прожил здесь около четырех месяцев, а для многих стал «желанный, советчик, кормилец, родненький». Из сундуков Татьяна достала холст, нашелся золотой галун, еще от остатков церковной утвари — для креста на покров. Василиск Петрович сразу сбежал к председателю и попросил у него три метра марли из хозяйственных запасов на молочные ведра, — и принес марлю к Захаровым. В дом уже набился народ, в толпе женщин и ребят, пришедших проститься с покойником, слышался его уверенный голос:

— Я всегда ему удивлялся, приятный воспитанный человек! При деликатном организме такие переживания: голод, тюрьма, высылка. Обидно! Мог быть врачом, инженером, даже профессором. А все от чего? В детстве просмотрели вредное влияние религии. Провести бы тогда должный инструктаж, стал бы настоящим человеком. Служитель культа! Ненужный человек! Так сказать — не человек, а миф!

И присел чуть не до полу — рука Евграфа по-медвежьи опустилась на его плечо.

— Сам ты миф, если хочешь знать! Про хороших не говори худо, не смей! Лучше за своей сумкой смотри, у тебя в ней такого «мифу» поналожено, одна страсть! Сеном ее напихай, удобнее с эдаким-то «мифом» бегать по больным! Кажись, полным-полна коробочка, ан пустые пузырьки да закрут резиновый, и тот для бегемота. Укола, и того не сделать вовремя! Срам.

Спихватился, помолчал, что-то вмиг пронеслось внутри тихим дуновением, и продолжал уже не свирепо, а внушительно, даже миролюбиво:

— У тебя, Василиск Петрович, есть родные, посылки шлют, хлопочи сюда полную аптечку, а председатель пушай твой ковчег с красным крестом произведет в настоящий вид. К весне разрешат лечить — лечи, а за мной дело не станет. Я в его память — хошь боковушку, хошь низ отдам на хорошее дело, «мед-пун» у тебя будет! Безобманно!

Фельдшер смущенно бормотал:

— Есть хлопотать аптечку и пополнить сумку. Приведем все в порядок полный, Евграф Захарыч.

Тем временем к Захаровым все прибывал народ. Женщины обступили фельдшера с вопросом, как умер, отчего, что болело? Василиск осмотрелся, нет ли поблизости критикана-хозяина, и начал боевой санпросвет:

— Сердце у человека, — объяснял он, — насос. Кровь у нас течет по системе трубок. Трубки сносились, сузились, произошел крах, пульс даже не так называемый «целер», что тоже опасно, а как ниточка, и шабаш...

Женщины плакали, жалели, вздыхали, в трубках ничего не понимали, а устремлялись наверх, посмотреть и попрощаться с ба-тюшкой.

«Яко да Царя всех подыдем!»

В садике за домом, в батюшкиной пустыньке, как он его недавно называл и куда спустился для последней прогулки, два поселенца и Федор оканчивали гроб. Остро пахло сосновой стружкой. «Домовина» была сколочена по мерке, глубокая, и всем казалось: батюшке будет удобно лежать. Ее выстелили тонким холстом, приколотили мелкими гвоздиками марлевую рюшку Татьяниной работы, и на крышку — крест из золотого галуна. Тут же на дворике гроб окропили святой водой, бережно хранимой верующими села Вихорево, и внесли наверх. Отец Павел лежал в летней ряске, недавно полученной из дома, под новой простыней, с воздухом на лице. Сюда тоже нашили золотой крестик. В деревне, не в городе, хлопот с похоронами мало. Отметили в правлении сельсовета, что умер такого-то числа такой-то поселенец, да и пошли на кладбище с самого утра на Сретение рыть могилу. Батюшка уже был переложен в гроб, принесли всякой хвои, ельника, пихтовых и кедровых веток, можжевельника. Все, кто умел, читали Евангелие над умершим...

Похоронить в день Сретения не удалось, надо было бы вынести пораньше, до темноты, да тут завелись разговоры небывалые, кто-то из жителей села подал голос за то, что такого человека надо похоронить с колокольным звоном. Откликнулись, заговорили, чтобы снова поднять на колокольню снятый два года назад и лежавший в подвале Вихоревского сельсовета колокол. Не поработать ли нам, братцы, общими силами, на такое дело? Весом он не так-то велик, да и нас, верующих, наберется порядком, звон батюшку проводит, мы над ним пропоем, а на родине — отпоют заочно... Председатель Пимен Семенов хоронить не придет: неудобно, партийный! А до Братска звон не долетит, да про наш колокол все забыли, хотели взять его на сплав, и до сего дня...

— Айда за колоколом! — позвал Евграф, вновь сознавая себя старостой. — Мое дело, я вместо председателя решаю, мне и в ответе быть!

К церкви устремились поселенцы и вихоревцы — числом до тридцати человек — помощников и зрителей. Поднимали колокол дружно. И цепи, и веревки, и болты — все осталось при нем, его вытащили из подвала в притвор на площадку, а оттуда на колокольню по цепи и веревкам. Но как же без песни при таком деле. И что петь? Не «Дубинушку» же тянуть?

Кто-то подал всем пример:

Яко да Царя всех подыдем!

Вдруг подхватили хором, вот уже колокол на месте, сверху его приняли, поднесли к массивному крюку, укрепили..

А в морозном воздухе долго еще затихало:

ангельскими... невидимо...

Когда с подъемом закончили, Евграф крикнул снизу:

— А ну-ка ударь разок, каково?

Задрожал, разлился вокруг давно не слышанный звук.

«Се, покой мой — здесь вселюся на веки»

Батюшку вынесли из дома Захаровых в день Симеона Богоприимца, около полудня. Его ждала могила у самого алтаря: над ней разрослось молодое черемуховое деревце. Гроб несли Федор, Евграф, поселенцы, пришедшие сюда с бабушкой. Мерно, уныло звучал вновь водруженный колокол. Во время всего пути не умолкало пение «Святый Боже». Отпели литию, прозвучала «Вечная память», гроб качнулся на холщовых полотенцах, скрылся в объятиях вечной мерзлоты, и один за другим полетели комья обледенелой земли, тупо ударяясь о крышку. Вокруг плакали. Сняв шапки, стояли над новым холмиком новые люди — Евграф Захаров и Федор Уковов.

На сибирском морозе долго не пробудешь! Три километра туда-назад, в село надо вернуться до сумерек. Многие направились к Евграфу, он приглашал всех помянуть, чем Бог послал. Татьяна ждала гостей с блинами и киселем. «Ваши гости!» — степенно отвечали на приглашение провожающие.

Последним оторвался от могилы Федор Уковов. За двое суток он выплакал все слезы и теперь чувство надмирной легкости овладело им. Отраднo было сознавать, что многие оценили как должно потерю дорогого ему человека, отца, такого же странника в неизвестную страну, как и он. «Смотри, работай, Федя, молись, понуждай себя творить много молитвы; свет души твоей — молитва — так говорил один из старцев, — внушал ему бабушка, — все надо поновому, по-честному! Теперь ты не один. Господь поможет во всем». Такими простыми, доходчивыми словами наставлял он его, этот прежний ученый, книжный, до конца смиренный человек. «По бабушкиным молитвам надо мне исполнить все!» — с таким решением Федор еще раз приник в сыновьем объятии к перекладине

креста и поспешил домой. Над новым холмиком крутился легкий поземок, налетая на ветки черемухового куста. Ветер к ночи будет злее, крепче, пожалуй, разойдется вьюга...

Вот и все о ссыльном пастыре... Но пусть налетит буран, покроет снегом старые и новые холмы, пусть вьется метель над далеким кладбищем и укутает его белоснежной пеленой, пусть летит время, исчезают года, и сюда уже не придет никто, и отколется от подножия маленький крест со стертой надписью, и упадет на землю... Все равно черемуховое деревце вновь оденется весной подвенечным цветом и к таким могилам никогда не заглохнет тропа молитвенной памяти и благоговения....

Содержание

Предисловие от издательства	3
ЧАСТЬ 1	
Начало конца	7
ЧАСТЬ 2	
Тернии	53
ЧАСТЬ 3	
Подвиг постный	123

«Отчизна неизвестная»

повесть

Редактор Е. А. Смирнова
Художник В. Г. Первов
Корректор С. П. Аникина
Технический редактор Т. В. Булатова
Верстка А. В. Шемшур E-mail: shemshur@yandex.ru

Подписано в печать 27.06.99. Формат 60x90/16
Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Тайме"
Усл. печ. л. 11. Усл. кр.-отт. Уч. изд. л. 11

Издательство Московской Патриархии
103050, Москва,
ул. Погодинская, д. 20, корп. 2

Отпечатано в типографии
Патриаршего издательско-полиграфического центра
г. Сергиев Посад